

## Содержание:

<a href="#">От автора</a> .....	1
<a href="#">Часть 1</a> .....	2
<a href="#">Часть2</a> .....	22
<a href="#">Часть3</a> .....	40
<a href="#">Часть 4</a> .....	58
<a href="#">Часть 5</a> .....	78
<a href="#">Часть 6</a> .....	97
<a href="#">Часть 7</a> .....	115
<a href="#">Примечания</a> .....	134

## ОТ АВТОРА

«Ночь с двадцать первого на пятое» написана участником по рассказам участников. Но это — не сборник мемуаров. «Ночь с двадцать первого на пятое» — произведение художественное. Это — не что иное, как попытка изложить октябрьские события в художественной форме. И как в каждом художественном произведении, в «Ночи» есть доля вымысла.

Но вряд ли эта доля здесь больше, чем в большей части официально «канонизированных» историй. Да и истории, рассказанные очевидцами, не могут быть абсолютно правдивы — что-то забывается, что-то путается, что-то неправильно истолковывается, и, в конце концов, самый что ни на есть правдивый очевидец где-нибудь да соврет незаметно для себя же самого и помимо своей воли.

Конечно, можно послушать нескольких честных очевидцев одного и того же события и получить правильную картину. Но, как говорил незабвенный Прутков, нельзя объять необъятное, а картина октябрьских событий поистине необъятна. Художественное же произведение, не претендуя на абсолютную правдивость фактов, выполняет не менее важную задачу — донести дух событий, их обобщенное ощущение, заставить читателя почувствовать себя участником событий. И если участники войны пишут не столько мемуары, сколько рассказы, повести и романы, значит, в этом есть смысл. Он действительно есть, ибо многое конкретное из пережитого быстро или со временем, но забывается. Мозг старается избавиться от тяжелых образов. Но не забываются чувства. Солдат, ходивший в атаку, возможно, забудет, как стрелял в упор, колот штыком или бил прикладом, забудет, в скольких шагах от него разорвалась мина и с какой стороны полушубок порезало осколком, но само ощущение атаки он не забудет никогда.

Как и любое художественное произведение, написанное участником событий, «Ночь» достаточно правдива даже с буквоедской точки зрения. Многие ее герои существуют в действительности, другие — имеют реальные (хотя часто — далеко не во всем с ними совпадающие) прототипы, некоторые, впрочем, выдуманы целиком от начала до конца.

Если угодно, «Ночь» — это октябрьские события, какими их увидел автор этих строк.

Впервые «Ночь» была опубликована малым тиражом в 2003 году. К сделанным мною ошибкам в этом издании прибавилась ошибка типографов, зачем-то прибавивших к названию на обложке слово «В» (в результате вместо «Ночь с двадцать первого на пятое» получилось «В ночь с двадцать первого на пятое»). В новом издании я постарался вычистить опечатки и исправить некоторые фактические ошибки, на которые мне указали люди, упомянутые в романе, и их знакомые, а заодно и восстановил название. Часть неточностей, впрочем, осталась. Будем считать их художественным вымыслом.

Пользуясь случаем, благодарю всех, кто помогал мне корректурой, макетированием и консультациями.

Вл.Платоненко

# НОЧЬ С ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО НА ПЯТОЕ

## ГЛАВА 1

Что до Костиной фамилии, то она всегда писалась с одним «л». С двумя «л» было прозвище — школьная еще кликуха, которая, кстати, ему прекрасно подходила, потому как он и в самом деле наполовину был грек. Костин отец был самый настоящий эллин (с двумя «л»), и никакой он был не Элин (с одним), а был он Ираклий Капитанаки — знаменитая фамилия, о которой писал не то Бунин, не то Куприн — и был при том капитаном какой-то пассажирской посуды. Эко диво! — Костя слышал о некоем греке же по фамилии Таксиди, который работал шофером такси. Таксист Таксиди, в конце концов, укатил на свою историческую родину, а вот куда уплыл капитан Капитанаки, не знала даже Костина мать. Может быть, потому, что сей факт не вызывал особой радости, а может, — потому, что это муторно каждый раз все объяснять заново, но только Костя не любил вдаваться в подробности и, ежели вопрос заходил о национальности, коротко отвечал: «По отчиму». В том, что у Костиного отчима в пятом пункте написано то, ради чего про этот пункт обычно и спрашивают, в этом можно было не сомневаться, достаточно было посмотреть на его внешность. Никто в этом и не сомневался, кроме старого Морозова, — соседа Элиных по лестничной клетке, у которого были не все дома, — он помешался на евреях и упорно считал Костиного отчима русским («Ну, конечно, — соглашался тот, — откуда в России взяться американскому?»), приводя в качестве доказательства убойный аргумент: «Все евреи — сволочи, а Сашка Элин — человек хороший».

Так вот, если бы еще в июне или даже июле кто-нибудь сказал бы Косте Элину — еврею по отчиму, греку по отцу, русскому по матери и, естественно, по паспорту и чорт его знает кому по самоощущению, если бы тогда какой-нибудь чудака сказал ему, что через пару месяцев он не только порвет с Ксенией, но и отправится известно зачем к Тамаре Погудиной, то Костя отреагировал бы на такое пророчество так же, как его предки по отцовской линии реагировали на пророчества Кассандры — то есть, попросту говоря, покрутил бы пальцем у виска. И дело было даже не в том, что Тамара была старше Костиной матери — ей в мае исполнилось сорок. Просто Костя не допускал мысли, что он сможет жить без Ксении.

Последнее было не только странно, но и прискорбно. Ксения, она же Оксана Трофименко, была существом своенравным, и Костя сразу попал к ней под каблук, что не замедлило отразиться на его судьбе. Сначала Ксении не понравилось, что Костя ничего не зарабатывает, кроме студенческой стипендии, и он нашел себе подработку на красильно-отделочной фабрике. Затем Ксения решила, что этих денег все равно мало, и вообще в нынешнее время институт никому не нужен — надо «идти в торговлю», и они с Костей, уйдя из престижного даже в такое смутное время МИРЭА\*, больше полугода простояли за лотками, продавая всевозможную дрянь. Положим, Ксения бы все равно не сдала свою первую сессию, но Костя-то учился уже на втором курсе и неплохо учился. В конце концов, до Ксении дошло, что это только в «советской» торговле продавец и его начальство — одна шайка, а в частном бизнесе есть хозяин, и есть наемные пролетарии, теряющие свое здоровье за лотком. После этого она сама уже не работала нигде, а Костя, с самого начала взятый в торговлю на неполную неделю и потому продолжавший подрабатывать на фабрике, там теперь и работал. Одно время он сверх того устроился было в метро оператором уборочных машин, но через три месяца оказалось, что вкалывать днем и ночью почти без сна — выше его сил, и Костя это дело бросил. После этого Ксения утратила к нему остатки уважения.

В довершение всего Ксения почти все время их знакомства оказывалась менее занятой, чем Костя, и будучи дамой общительной, проводила свое избыточное свободное время с другими знакомыми.

Насколько далеко при этом заходило ксеньино общение с ними, Костя не знал, но то, что Ксения эти свои встречи от него всячески скрывала и вечно норовила Костю обмануть, ему не нравилось.

Пожалуй, самым лучшим в данной ситуации было послать Ксению к чертям собачьим. Но то ли потому, что Ксения была его первой женщиной (если, конечно, не считать того, что именуют случайными связями), то ли еще по какой причине, Костя упрямо продолжал держаться за нее. Впрочем, и Ксения при всем при том не спешила рвать с Костей. Она прекрасно понимала, что другого столь преданного парня ей не найти. Поэтому, хоть у Кости с Ксенией и недели не обходилось без скандала, о разрыве не заходило и речи.

Но Тамара Погудина, прожившая долгую и бурную жизнь, понимала ситуацию намного лучше Кости. Она много чего понимала лучше других, Тамара Погудина, которую знала вся фабрика, и еще, пожалуй, две-три соседних.

О тамариных похождениях на фабрике ходили легенды. Правда, первые несколько лет после свадьбы (а она вышла замуж, едва ей исполнилось восемнадцать) Тамара была образцово верной женой. Но прошло три-четыре года, чуть подросла тамарина дочка, и больше стало у Тамары свободного времени, чаще стала она попадаться мужикам на глаза — и вот тогда-то и наверстала упущенное. Наверное, страсть к мужикам была у нее в крови. Ее мать в свое время тоже отличалась явным равнодушием к противоположному полу и даже замуж из-за этого вышла не осенью, как все порядочные деревенские, а в июне, потому что родители заставили — боялись, что до осени у нее уже пузо вырастет. До осени оно, правда, не выросло, да и вообще выросло не скоро, потому как через неделю после свадьбы будущий тамарин отец ушел в военкомат и вернулся только через четыре с половиной года, когда уже не только немца, но и японца одолели. Однако это все было до свадьбы, потом тамарины родители жили не то, чтобы уж душа в душу, но в общем нормально; а вот у Тамары с мужем недели не проходило без двух скандалов. Что при этом чему больше способствовало: тамарино гуляние скандалам или скандалы гулянию, сказать было трудно. Наверное, все-таки место имел второй вариант, ибо тамарин муж, как это часто бывает, меньше всех знал о том, чем занималась Тамара в свободное от работы и домашних дел время.

При всем при том Тамара отличалась такой добротой и отзывчивостью, что как-то даже у самых ярых моралистов язык не поворачивался осудить ее поведение. Казалось — то, что стыдно для других, позволено Тамаре, тем более, что и муж у нее был, по отзывам знавших его людей, «просто сволочь». Впрочем, лет через десять после свадьбы Тамара окончательно разругалась и развелась с ним.

Под стать тамариному поведению была и ее лексика. Тут, правда, по-видимому, не существует четкой корреляции — иной раз самые отпетые потаскухи изъясняются на языке гоголевских дам «приятных во всех отношениях». Однако Погудина к таковым не относилась, скорее, наоборот, ее речь могла бы показаться нарочито грубой, если бы не та естественность, с которой самые непристойные слова срывались с ее губ. При этом Тамара никогда не употребляла эти самые слова иначе, как по прямому назначению: она не ругалась — она разговаривала. Ей просто в голову не могло прийти, что нужно сиськи называть грудями, сосание — менетом, а себя именовать, допустим, жрицей любви, а не простым русским словом из пяти букв.

Вот в таких, самых грубых и недвусмысленных выражениях Тамара заявила как-то Косте, что, если у него вдруг не заладится с Ксенией, то он может рассчитывать на нее, Тамару. Тогда Костя принял все это за шутку, тем более, что сказано это было принародно, и все, кто это слышал, тоже решили, что Тамара хохмит — подобные шутки были в ее духе. Но странное дело — когда через полтора месяца

после разрыва с Ксенией Тамара, уже не вдаваясь в объяснения, предложила заехать после работы к ней домой, Костя, не задумываясь, согласился и вместо того чтобы как обычно ехать к тетке в Беляево, поехал с Тамарой на Преображенку.

Тамара могла считать себя коренной москвичкой, хоть и родилась, несмотря на свое городское имя, в деревне. Один чорт — деревня эта скоро оказалась в черте Москвы, и в семидесятом на ее месте понастроили шестнадцатиэтажки, а почти всех жителей переселили в соседний район. Исключение почему-то сделали для двух семей — Тамары и ее будущего мужа — которых поселили в дохрущевской еще пятиэтажке в переулке Алымова. Теперь тамарины родители уже давно умерли, брат был выслан за сто первый, муж вернулся к себе, сестра и дочь вышли замуж, и Тамара осталась одна в трехкомнатной квартире.

Костя, наоборот, никогда не имел в Москве законного угла. Он родился и вырос в Люберцах, а в Москве жил у тетки еще с тех пор, как начал сдавать экзамены в институт. Двое теткиных сыновей давно уже получили свои квартиры, и после смерти мужа тетка осталась одна, работать она не работала, потому как еще в девяностом ей дали вторую группу; так что костино присутствие тетке было не в тягость, напротив, она была рада, что есть, с кем перекинуться словом. Даже с Ксенией Костя встречался, как правило, у тетки, хотя ни ксеньины родители, ни ее брат, о котором Эллин, впрочем, знал лишь понаслышке, ничего против Кости не имели. За два с лишним года Костя настолько свыкся со своим московским жильем, что, придя к Тамаре, счел нужным позвонить тетке и предупредить, чтобы сегодня к ужину его не ждала — он придет поздно, а может и вовсе не придет — заночует в гостях. Тетка несколько огорчилась (ей скучно было вечером оставаться одной), но виду не подала и пожелала Косте хорошо провести время.

\* \* \*

Левый информцентр осенью девяносто третьего был весьма разношерстной организацией. Конечно, был он уже не тот, что в начале своей деятельности, сразу после создания, но и еще не тот, каким он стал позже. Это где-то году к девяносто пятому лидеру социал-имперского крыла Якуничкину со товарищи удалось подмять под себя ЛИЦ и превратить его в очередное информагентство объединенной оппозиции, после чего все мало-мальски живое начало разбегаться из ЛИЦа, уставая слушать идиотский треп «аналитической группы ЛИЦ» с Якуничкиным во главе. А тогда еще было сильно в ЛИЦе левое крыло, еще были там другие люди, кроме членов пост-КПССных организаций. Был там жизнерадостный «новый левый», один из создателей московского ИРЕАН — Инициативы революционных анархистов — Дмитрий Костенко, имевший эффектную внешность и хорошо подвешенный язык, упивавшийся своей внешней крутизной и склонный к элитаризму. Позднее этот самый элитаризм отделил его от вчерашних друзей и привел в ряды нормальных оппозиционных карьеристов; но тогда еще до этого было относительно далеко, тогда еще трудно, почти невозможно было представить себе Костенко в роли партийного бюрократа. Был другой старейший иреановец Владимир Трофименко — родной брат Ксении, упрямый фанатик, ненавидевший индустриально-рыночную цивилизацию и видевший в анархо-коммунизме оружие, с помощью которого люди смогут вернуться в Эдем, переступая через трупы ангелов с огненными мечами. Был Дмитрий Лозован, ставший анархо-синдикалистом в девяносто первом году, а до этого успевший побывать в Демсоюзе (в те достославные времена, когда там были все — от ультралевых до густо-правых), а затем в эсэровском Товариществе социалистов-народников. Был левый эсдэк студент юридического факультета МГУ Стас Маркелов. Была тогда в ЛИЦе — по-настоящему была в нем, а не просто с ним сотрудничала с ним как позднее — одна из создательниц ЛИЦа Татьяна Чавчукова, работавшая политологом в Институте социально-политических исследований, созданном бывшим диссидентом

Капуциновым на деньги Сороса. Чавчукова специализировалась на изучении левых организаций, и ЛИЦ, кроме прочего, давал ей материал для работы в ИСПИ, что она с лихвой окупала своей работой в ЛИЦе (прежде всего, в качестве машинистки и верстальщицы). Правда, в сентябре она не работала ни в ЛИЦе, ни в ИСПИ, потому как ей подходило время рожать; так что ЛИЦу приходилось выкручиваться без нее, что было нелегко. ИСПИ было проще — работу Чавчуковой там теперь делал за дополнительную половинную плату Трофименко, сам специализировавшийся на демократах.

Весна, лето, да и начало осени девяносто третьего были временем наивысшего подъема в деятельности ЛИЦа. Уход Чавчуковой, конечно, сказался, но сказался не сразу, во всяком случае, к сентябрю все связанные с этим проблемы еще как-то терпели. Зато в конце зимы ЛИЦ получил помещение в здании Советского райсовета, и в марте туда даже был перетащен ротатор, раньше стоявший на квартире у одного из старейших членов ЛИЦа, правда, теперь уже почти отошедшего от дел, Григория Тарасевича. Теперь лицевская тусовка собиралась по вторникам в райсовете, и уже полгода никаких проблем с помещением не было. К началу девяносто третьего ЛИЦ получил весьма широкую известность в официальных оппозиционных кругах, не успев еще однако потерять свою независимость и определенные симпатии в кругах неформальной оппозиции. ЛИЦ получал информацию о самых разных организациях — от троцкистских и анархистских групп до РКРП и РОСа.

Двадцать первое сентября было вторником, и лицевцы собрались вечером в райсовете. Они уже давно обсудили все текущие дела и теперь оставались только ради одного — сейчас по радио должны были передать президентское выступление.

О том, что это выступление не предвещает ничего хорошего, лицевцы были прекрасно осведомлены. Правда, уже бывали случаи, когда от Ельцина ждали невесть чего, а он ограничивался сотрясанием воздуха. Костенко твердо был уверен, что так будет и в этот раз. Якуничкин не хотел загадывать заранее. Трофименко был мрачен. Днем он побывал на пресс-конференции Гражданского союза, где один из лидеров этой центристской организации, опирающейся на отечественный, прежде всего, провинциальный директорский корпус, посоветовал журналистам следить за тем, что президент скажет вечером, намекая на что-то явно нехорошее. «Я хотел бы ошибиться...», — сказал тогда ГСовет. Ельцин заговорил, и Трофименко начал понимать, что апологет российского директората не ошибся.

Трофименко слушал президентское словоизлияние, не ухватывая ни слова. Слова сыпались, как песок, не оседая в его мозгу. Это было следствием не только вечерней усталости, но и быстро выработавшейся привычки отделять смысл речи от ее слов, основное от второстепенного. Необходимость фиксировать для дальнейшего изучения речи всевозможных политиканов, необходимость записывать их (при том, что Трофименко не умел писать достаточно быстро и абсолютно никогда не был знаком даже с основами стенографии), эта необходимость выработала у него умение, слушая речь, на лету отделять ключевые фразы от вспомогательных, а если возможно, то и эти ключевые фразы сводить в более короткие, высказанные своими словами, но при этом точно передающие смысл речи. И потому все, что он теперь слышал, казалось, проходило мимо его сознания; и только когда речь закончилась и Ельцин сказал последние слова, все это словоблудие отлилось для Трофименко в одно-единственное слово: «Переворот».

Два года назад, в августе девяносто первого Трофименко сказал: «Не знаю, кто из них победит, но мы уже проиграли». Теперь ситуация, с его точки зрения, была несколько другая, но тоже не особо хорошая. В победу анархистов или хотя бы кого-то близкого к ним верилось слабо. В долгую заваруху, из которой по ходу дела могло бы выйти что-нибудь путное, — тоже. Хотя какая-то надежда была. Но

в любом случае оставаться в стороне было нельзя — это для Трофименко сомнению не подлежало.

— Сволочь! — зло сказал он. — Нашел время. Тут картошку выкапывать надо, а он перевероты делает.

— Что ж это так поздно? — удивился Якуничкин. — Ее ж в начале осени копать надо.

— Это ежели участок близко, — возразил Трофименко. — А мне до участка пять с половиной часов добираться. Тут за вечер не съездишь, надо на несколько дней ехать. А тут — то мониторинг, то какой-нибудь съезд или пресс-конференция. Вот завтра рассчитывал поехать. Теперь — чорта с два. Чорт, и домой уже, наверно заехать не успеваю! Знал бы, что будет, хоть бы оделся потеплее!

— Зачем потеплее? — не понял Лозован.

— Теперь же ж надо будет к Белому дому идти, — пояснил Трофименко, — а я, когда одевался, на ночь не рассчитывал.

Он ткнул себя пальцем в серо-белую хабешную куртку.

— Ночью-то стоять — замерзнешь в такой хламиде! А если мне домой заехать, переодеться, то я не уверен, что потом успею.

— Зачем к Белому дому? — удивился кто-то.

— Нет, а это в самом деле имеет смысл, — возразил Якуничкин. — Прямо сейчас пойти посмотреть, что там творится...

Идти к БД собрались Трофименко, Якуничкин и Войтехов, остальные решили повременить. Впрочем, уходить все равно пора было всем, и тусовка начала собираться. Костенко повесил на плечо свою увесистую сумку. Трофименко застегнул куртку на все пуговицы, старым шнурком от ботинок завязал свои патлы в «утиный хвост» и на всякий случай проверил, при нем ли нож. Как истинный анархист, Трофименко считал вполне естественным всегда иметь при себе для самообороны оружие и потому носил на поясе в ножнах нож с длинным и толстым лезвием. Ножны он прятал в специально продырявленный карман, а рукоятку прикрывал курткой. Нож считался хозяйственным и был куплен вполне легально, но сделан был так, что вполне мог служить оружием и довольно хорошим.

Кабинет быстро опустел. Якуничкин запер дверь, и все сборище спустилось вниз по лестнице в вестибюль и вышло через стеклянную дверь из здания Совета. Некоторым из уходящих еще довелось побывать здесь через неделю. А потом, после победы демократии здание было опечатано, и информцентровцы снова остались и без помещения, и без ротатора. Но тогда они еще не знали, что будет так. Впрочем, они вообще не знали, что, собственно, теперь будет.

\* \* \*

Услышав про указ, Костя встал и молча направился к двери. Тамара поймала его за ремень.

— Ты куда? — возмутилась она. — Ты что думаешь, Хасбулатов лучше?

— Плевать я хотел на Хасбулатова, — отвечал Костя. — А бучу устроить надо. Они хотели очередную революцию — они ее сейчас получают. Пусть знают, как над народом издеваться.

Тамара почувствовала, что Костя по-своему прав. В самом деле, когда зарплаты не хватает на

нормальную жратву, а те, кто наверху, грызутся между собой за то, кому достанется больше власти, всех их надо гнать поганой метлой. Правда, непонятно, почему это должен делать Костя, но, с другой стороны, почему это должен делать кто-то другой? Конечно, ничего путного Костя не добьется — вместо Ельцина придет Хасбулатов или Руцкой, или кто еще и будет такой же сволочью — но хоть моральное удовлетворение Костя получит от того, что скинул одного шкуродера. Кроме того, то ли по интонации, то ли еще по каким-то одной ей заметным деталям Погудина поняла, что ей Костю не отговорить. Она слишком хорошо знала мужиков, чтобы не понимать, когда с ними можно спорить, а когда — бесполезно.

Тогда Тамара изменила тактику и, не возражая против костиного намерения, начала уговаривать его подождать чуть-чуть, самую малость. «Ты пойми, — убеждала она, — либо там все разгонят за полчаса, тогда ты все равно не успеешь, либо вообще не начнут до завтра. Так что час-другой все равно ничего не решает. И никого там не удивит, что ты пришел не сразу, а через три там часа или четыре. Там ведь наверняка будут люди из каких-нибудь Мытищ или Люберец — если это серьезно, конечно — представляешь, сколько им добираться! Да ты ведь и сам — из Люберец! Ну, кто там у тебя будет спрашивать, из Москвы ты ехал или из дома? Ты ведь теперь неизвестно когда вернешься, нельзя ж так сразу уходить. А если с тобой, не дай бог, что случится? Дай мне хоть напоследок...»

И, в конце концов, Тамара добилась своего — Эллин согласился остаться на два часа, а это означало, что он сдался; ибо, согласившись на два часа, Костя через два часа согласился остаться еще на час, потом — еще на полчаса, потом — на пятнадцать минут, а потом выяснилось, что скоро — час, и если он и успеет дойти до метро, то на переход его уж точно не пустят, да и неизвестно, успеет ли дойти. К тому же за эти часы он тамариными молитвами успел здорово приустать. Поэтому Тамаре уже не составляло большого труда убедить Костю отложить все до завтра. В конце концов, по ее словам, это выходило даже лучше — за сутки выяснится, серьезный это указ или очередная тувта. Костя согласился с тамариными доводами и тут же заснул — практически одновременно с тоже уставшей Тамарой, едва успев напоследок ее обнять и пожелать ей спокойной ночи.

\* \* \*

Лицевцы пришли к Белому дому одними из первых — за час с небольшим народу успело собраться крайне мало, но было видно, что он постоянно прибывает. Ни о каких слаженных действиях речь пока не шла — подошедшие просто толпились у стен БД или кружили перед зданием.

Трофименко не успел еще толком и осмотреться, как буквально столкнулся с Бийцем — как и он, тот только-только появился у БД. Вслед за Бийцем из темноты вынырнул Миша Голицын, которого Трофименко знал хуже, но которого он за версту узнал бы по одежде.

Трудно было представить себе большего оборванца, чем Миша Голицын. Он был одет в какую-то задрипанную куртку и не менее задрипанные рваные джинсы — рваные настолько, что ни один самый, что ни на есть, хиппарь-расхиппарь или панк-распанк не счел бы их за одежду; а обут — в старые-престарые кеды, естественно, на босу ногу. Волосы у него были нестрижены настолько, что это сразу же бросалось в глаза, и одновременно не настолько, чтобы можно было подумать, будто он специально их отращивает. Очки в металлической оправе, более напоминающие коровьевское пенсне, нежели нормальные окуляры, довершали его облик. Биец, тоже одевающийся не бог весть как, на фоне Миши выглядел членом королевской свиты.

«И ты здесь?» — удивился Трофименко, увидев Бийца. Впрочем, вопрос был чисто риторический. Где ж еще было быть лидеру троцкистской организации, считающему уходящую формацию

«бюрократически деформированным социализмом», а сторонников этого строя, равно как и открытых сталинистов, — частично заблуждающимися, которым не хватает только чуткого троцкистского руководства. Скорей уж надо было удивляться тому, что сюда приперлись Трофименко с Мишей. Бийца это, впрочем, не удивляло — он и анархистов считал потенциальными троцкистами и давно имел виды на Трофименко, а Голицын, так тот уже вступил в бийцевский «Комитет за рабочую демократию и международный социализм», хотя при этом продолжал считать себя анархистом.

В обороне БД быстро наметились две тенденции — организованная и стихийная. Одни подходившие стали записываться в десятки (запись вели «ТрудРоссия» и «Союз офицеров»), а потом топтались у здания в ожидании приказов, которых никто пока не отдавал. Чуть позже к ним подошли уже сформированные подразделения «казаков». Другие, не дожидаясь руководящих указаний, взялись за возведение баррикад. Среди последних выделялись Биец, Миша, Трофименко и Дима Стариков — член ДС, не того ДемСоюза России, что откололся вместе с Новодворской, которая, в итоге, стала самой известной из всех ДСовцев, потому что громче всех вопила, а настоящего ДС, сохранившего после раскола не только свое старое имя, но и свой, пускай очень нежно, но все-таки розовый оттенок. Четверка работала на совесть. Биец, как истинный вождь, не только сам таскал строительный мусор, но и раздавал всем указания, что куда водружать. Трофименко, не чуждый эстетики, разворотил парковую дорожку, выложенную из каменных плиток, чтобы укрепить оными плитками (раз уж нет классического булыжника) основание баррикады. Вовлекши в строительство достаточное количество народу, левачи перебирались на другое место и создавали из толпящихся там защитников новую бригаду. Вокруг строителей суетились телевизионщики, снимая все подряд. Огни Белого дома и репортерские прожектора слепили глаза.

Вскоре тенденции пришли в столкновение. Какой-то офицер наорал на Трофименко за то, что тот перегородил железякой дорогу: зачем, дескать, мешаешь подъезду транспорта? Трофименко спорить с целой кодлой офицеров не стал, но и убирать железяку — тоже. Он просто плюнул и убрался сам: если их благородие такой умный, пусть сам таскает железяки или закрывает дырку своим брюхом.

Тогда же Трофименко в первый раз увидел у БД баркашей. Наглые, уверенные, они разгуливали в своих камуфляжах со свастикой на рукавах. Свастика была переделана на эдакий славянский лад, но все равно было видно, что это — свастика. К тому же после драк у Музея Ленина, в одной из которых Трофименко участвовал лично, эта эмблема, будь бы она даже и не свастикой, стала для него символом врага. Как погоны для махновца, как немецкая каска и *maschinen pistole-40* для красноармейца. Голицын, с битья которого, собственно говоря, и начались эти драки, да и Биец, бывший одним из организаторов контрнападения на баркашей, тоже не питали к нацистам большой симпатии. Но затевать с баркашами новую стычку было безумием — их с каждой минутой становилось все больше.

Тем временем стало заметно, что если с двух сторон Белый дом еще более-менее прикрыт или, во всяком случае, прикрывается, то с двух других он — гол, как задница макаки. Биец, Голицын и Трофименко, обойдя БД, поспешили инициировать строительство со стороны набережной. К их удивлению, им не только не захотели помогать, но и самих начали гнать, заявив: «Если считаете, что Белый дом плохо защищен, становитесь здесь и защищайте его своим телом, а баррикад нам не надо, у нас есть милиция». Трофименко поинтересовался, понимают ли собравшиеся, что никакая милиция не защитит БД от танков, и получил ответ, что БД никто штурмовать не будет, это все — для вида.

Миша Голицын попытался разломать на баррикады ближайшую автостоянку, но этому резко

воспротивились менты с дубинками, а от защитников БД не было никакого сочувствия. Поняв, что втроем им с ментами не справиться, леваки оставили стоянку в покое.

Биец сделал последнюю попытку организовать-таки строительство, найдя какого-то своего знакомого, занимавшего некий пост в дружине «ТрудРоссии». Услышав, что с другой стороны нужно строить баррикады, трудоросс сперва с жаром поддержал Бийца, заявив: «Набирай сотню!» Но как только Биец попросил объявить о наборе сотни в мегафон, трудоросса словно подменили. Он завертелся, как загнанная в угол курица, закудахтал: «А что? А как? А зачем?» и, в конце концов, заявил, что никаких баррикад строить не надо.

Трофименко предложил втроем записаться в какое-нибудь подразделение, чтобы, с одной стороны, быть вместе, а с другой, — получить тут, что называется, легальный статус. Троица уже начала вписываться к кому-то в «десяток», но тут подбежал Аркаша Пилипенко и уволок леваков записываться к «своим».

Пилипенко познакомился с леваками в Доме на Таганке, который прошлым летом трудороссы, «казаки» и анархисты защищали от не в меру бойких приватизаторов. От анархистов там были трое иреановцов — Андрей Котенко, Трофименко и Макс Кузнецов, убитый месяц назад охранниками буржуйского ресторана, в котором он бил стекла. В конце концов, жителей дома все-таки переселили, но на более выгодных, чем поначалу, условиях, а фирма, его купившая, из-за задержки, которую ей устроили защитники, вылетела в трубу; и остался дом стоять пустой и полуразломанный.

В этом доме Аркаша и познакомился с Трофименко, хотя последний относился к нему настороженно (сталинист Пилипенко был для Трофименко врагом), а потом Котенко познакомил его с Бийцем, и под влиянием последнего Аркаша «отроцкел», как выражался Котенко. Кстати, в Доме на Таганке Биец завербовал в свои сторонники не только Пилипенко, но и Ваню Черепенникова — здоровенного трудороссовского дружинника, бывшего мента и познакомился с только что вступившим в РКРП Игорем Донским, который этой весной уже вышел из партии, не вынеся анпиловского антисемитизма, и теперь тоже стал поглядывать на КРДМС. Удачно поработал Биец в Доме на Таганке.

Стараниями Аркаши троицу приписали к батальону «Москва», который уже собрался перед входом в БД и ждал дальнейших указаний. Так леваки простояли рядом с трудороссамми где-то с полчаса, обсуждая меж собой, что неплохо бы в случае победы захватить какое-нибудь здание в центре города и устроить там Дом анархии. Точнее рассуждали об этом Трофименко с Голицыным — Биец к анархизму относился отрицательно, считая его, как и положено троцкисту, мелкобуржуазным заблуждением.

Ожидание стало уже действовать на нервы, когда вдруг была подана команда, и батальон начал втягиваться за импровизированный барьер, непосредственно за коим находились стеклянные двери центрального входа в Белый дом. Леваков за барьер не пустили. Другие члены батальона заявили, что знать их не знают, и слиняли за барьер. Охреневшие леваки кинулись было за Аркашей, но скоро выяснилось, что Аркашу и самого в БД не пустили, потому как он слегка выпимши, а у трудороссов с этим строго. Узнав об этом, Трофименко вздохнул и высказал мнение, что нехрена было слушать всяких там Аркаш, надо было записываться, куда брали, лучше синица в руке, чем х...й в ср...ке, а там бы видно было; в конце концов, перебраться из одного подразделения в другое, наверно, было бы вполне реально. Миша добавил, что слышал краем уха, как кто-то из трудороссов сказал: «Жиды в батальон пробрались», но не придал этому значения. В ответ Биец начал катить бочки на Мишу,

заявив, что их сочли за «жидов», услышав, как анархи рассуждают о захвате зданий и тому подобных вещах. Миша флегматично выслушал разгон вождя, после чего так же флегматично позволил себе усомниться в его правоте, предположив, что трудороссы — просто козлы и сами не знают, что делают. «Во всяком случае, — резюмировал Биец, — сегодня у нас — крупный провал. Потому что раньше мы везде, где хотели, либо попадали, либо делали вид, что нам это — на х... не надо. А теперь все видели, что нас куда-то не пустили». Миша не стал спорить. С точки зрения Трофименко гораздо хуже было то, что не удалось проникнуть внутрь и, может быть, даже получить оружие, но он промолчал.

К этому времени уже все десятки, батальоны и т.д. разошлись по своим постам, а стихийные защитники расположились у костров, используя в качестве дров как старые ящики, так и деревянные части баррикад. Последних к тому времени было понастроено великое множество, но через многие можно было перешагнуть, а со стороны набережной БД так и остался голым. У здания стояли какие-то крепкие мужики в штатском с короткими автоматами. Деловито шныряли баркаши, которых было, по расчетам Трофименко, уже никак не меньше двух десятков. От подъезда в течение двух-трех часов доносились через мегафон призывы «очистить площадь от пьяных и праздношатающихся». Никто, впрочем, «площадь» не очищал. Трофименко и Биец с Мишей преспокойно грелись у какого-то костра, а рядом лежал пьяный Черепенников.

Потом перед БД устроили митинг. Над толпой гордо реяли красные (чаще всего с серпом и молотом, а иной раз и с голубой или иной полосой) и черно-желто-белые знамена. Цвет последних напоминал о тухлых яйцах. Выступали Хасбулатов, Анпилов, Астафьев, малоизвестный тогда Зюганов, Горячева, Умалатова и еще чорт знает кто. Одни говорили о социализме, другие — о «народной приватизации», слыша про которую леваки плевались и нецензурно выражались. Зато все без исключения вещали либо о восстановлении Союза, заканчивая выступление фразой: «Да здравствует наша Родина — Союз советских социалистических республик», либо о возрождении России, тут же заявляя, что они не противопоставляют понятия «Россия» и «Советский союз». Единственное что-то более-менее путное было сказано Анпиловым — он потребовал раздать народу оружие, не уточнив, впрочем, кого считает народом.

По ходу митинга собравшимся была сообщена радостная весть — решением ВС Руцкого назначили и.о. президента. Теперь у защитников БД тоже был свой президент. Толпа встретила известие радостными воплями и бурными рукоплесканиями, зато Биец, Голицын и Трофименко окончательно помрачнели и отпустили по адресу и Руцкого и Верховного совета нехорошие выражения. Трофименко даже предположил, что теперь, может быть, и вправду никакого штурма не будет, а просто завтра явится «спаситель» на белом коне, или, вернее, на белом бронетранспортере и начнет править вместо Ельцина. Какой-то молодой парнишка, приткнувшийся на минуту к левакам, — защитник БД-91 из тех, что верят в «настоящую демократию», заявил, что завтра «Московский комсомолец» выйдет со статьей под названием: «Демократия обос...лась».

После митинга по радио врубили прямую трансляцию с заседания ВС, а когда оно, наконец, закончилось, толпа начала с песнями маршировать вокруг БД.

«Праздношатающиеся» защитники в митингах и шествиях не участвовали, а только разводили время от времени новые костры. Сперва перед БД горел всего один костер, потом — три, потом — пять... Среди «праздношатающихся» народ был все больше непартийный, многие из них уже однажды защищали БД — в девяносто первом году. Изредка к кострам подходили телевизионщики, снимая то угрюмые лица «праздношатающихся», то ножны, торчащие у Трофименко из-под куртки (здесь он не считал нужным скрывать наличие у себя оружия).

К половине пятого Бийцу надоело без толку сидеть, и он предложил смотаться к нему домой. Черепенников остался досыпать, а Биец, Голицын и Трофименко вышли за баррикады и пошли по пустым улицам. Где-то в районе метро «Полежаевская» их подобрал шальной трамвай, ехавший в сторону «Сокола». Вожатый, узнав, что троица идет от БД, поинтересовался, кто там собрался, коммунисты что ли. «Да настоящих коммунистов там почти нет, — отвечал Биец. — Ну вот мы — коммунисты. А так... Ну какие это коммунисты, если они выступают за приватизацию?»

В начале седьмого левачи добрались до бийцевской квартиры. Они перекусили на скорую руку (хотя особо перекусывать было нечем — почти все деньги уходили на издание газеты, и Биец с Мишей питались чаем и картошкой) и, не раздеваясь, завалились спать. Здоровенный таракан переполз через лежащего на диване Трофименко и исчез в темноте. Их было много у Бийца — тараканов, так много, что непонятно было, чем они тут питались; и Трофименко много позднее как-то сказал, что приход к власти Бийца будет равносителен ядерной зиме — и в том, и в другом случае на земле уцелеют только тараканы. Но тогда Трофименко был такой усталый, что таракана даже не заметил, а если бы и заметил, то все равно не обратил бы внимания. Только в двенадцатом часу у него хватило сил встать и, отпившись чаем (Биец всегда заваривал чай необыкновенной крепости), отправиться домой, прихватив с собой по профессиональной привычке старый номер «Рабочей демократии».

\* \* \*

Двадцать второго к БД явились представители КРДМС, но не бийцевики, а сохранившие верность своему английскому эмиссару сторонники троцкистской тенденции Militant — члены «Рабочей демократии»-Militant, как именовали они себя после раскола с Бийцом (КРДМС(М), как ядовито называл их Трофименко). Они наклеили на стены и столбы несколько листовок под названием «Ни Ельцин, ни Рущкой!» и с чувством выполненного долга удалились. А их листовка, единственная дельная листовка у БД, частью была сорвана защитниками парламента, а частью просто затерялась среди имперской и антисемитской стеновой макулатуры.

\* \* \*

Биец вскоре после ухода Трофименко не надумал ничего лучшего, чем пойти к БД торговать газетами. Идея не вызвала энтузиазма у Голицына. Если для Бийца продажа трудороссам его «Рабочей демократии» была основным средством пропаганды и агитации среди «частично заблуждающихся», и это решало все, то Мише за эту торговлю баркаши уже сломали два ребра, и он не горел желанием рисковать остальными. Правда там, у Музея нацистам вправили мозги (с помощью пустых бутылок), однако ж Белый дом — не Музей, и что будет там — неизвестно. Но Бийцу ребер не ломали, и зря, видно, не ломали, потому что он не только сам приперся к БД, но и приволок туда Мишу, Вадима Лагутенко и пятнадцатилетнего Борю Эскина, которого после последней серьезной драки у Музея следак всю ночь мутузил, пытаясь выбить признание, что это он — Боря огрел нациста бутылкой по башке. У БД Миша еще раз постарался вразумить Бийца: «Давай, хоть ходить по двое!» «Нет, — возразил Биец, — если мы будем ходить по двое, мы вдвое меньше газет продадим».

Продажа газет длилась недолго. Поначалу Биец с Лагутенко ходили по одиночке, а Голицын с Эскиным — в паре. Потом Миша попробовал все-таки походить один и тут же напоролся на нескольких баркашей. Миша успел проскочить между ними — они только пихнули его локтями с двух сторон — и затесаться в группу комсомольцев, оказавшихся поблизости. Баркаши попытались вытащить Мишу, однако ребята, сцепившись локтями, начали брыкать баркашей ногами. Баркаши тоже изобразили канкан, и тем бы, наверно, дело и кончилось; но тут сзади раздалась какие-то

вопли, и Миша, обернувшись, увидел, что двое баркашей тузят Бийца. Отцепившись от комсомольцев, Голицын бросился на выручку, и тут все остальные нацисты накинулись на него. Но откуда-то уже бежал Аркаша с трудороссами, и баркаши отскочили в стороны, как облитые из ведра коты.

«Идите-ка вы лучше отсюда, — сказали трудороссы Бийцу, — а то вас здесь убьют, а мы же не можем к вам охрану приставить». Чистую правду сказали, и Биец похоже это понял, а может быть ему просто не понравилось, как баркаши бьют, но только он благоразумно слинял вместе со своей газетой, прихватив с собой и Мишу, и Эскина, и Лагутенко, хотя последнего баркаши пока вроде не трогали.

\* \* \*

Двадцать второго Ельцин, возмущенный упорством противника, пообещал отключить в Белом доме свет и воду. В ответ на это вечером известный на всю Россию не меньше Ельцина Невзоров с телеэкрана пообещал, что если это случится, то регионы отключат Москве нефть и газ. Насчет отключения Невзоров может и погорячился, но в одном он был прав: региональным элитам поведение Ельцина не нравилось. Региональные элиты состояли в основном из директоров и не любили московских финансовых акул, связанных с границей и составлявшей им, директорам, конкуренцию. Это было нормальное противостояние между национальной элитой и компродорской. В разгоне Верховного совета директора видели очередную победу компродоров. ВС отстаивал директорские интересы.

\* \* \*

Ко второму вечеру костин задор сильно поулег, и Тамара уже рассчитывала снова отговорить его идти к БД, благо, и по телевизору диктор как раз вещал: «У Белого дома собрались в основном престарелые...» Но тут, как на грех, начали показывать этих самых защитников, и в подтверждение слов о престарелых на экране появилось лицо двадцатидвухлетнего Стаса Маркелова, которого Костя хорошо знал. «И этот там же!» — подумал Эллин, и теперь уже ничего не могло его остановить. Тамаре пришлось на эту ночь остаться одной. «Ты не грусти, — пошутил Костя на прощанье. — Может я к тебе еще с медалью прииду». Но у Тамары эта шутка не вызвала энтузиазма. «Ты с целой головой приходи! — ответила она. — С за...пой целой и с яйцами. А медали пусть Руцкой носит вместе с Хасбулатовым!»

\* \* \*

На вторую ночь, по наблюдениям Трофименко, спектр защитников БД здорово расширился. Появились разные экзоты вроде Братства кандидатов в настоящие люди, пришли комсомольцы, свой костер развели панки. Зато пропали Биец с Мишей к великому удивлению Трофименко, ожидавшему, что они, несмотря на вчерашний облом, снова придут сюда. Высокое начальство опять призывало вновь прибывших записаться в подразделения, но у Трофименко не было никакого желания записываться в одиночку. Ему совсем не хотелось растворяться среди сторонников Руцкого. Не дождавшись Бийца, Трофименко поискал было комсомольцев, из которых он, по крайней мере, кого-то знал, но те уже куда-то исчезли. Тогда Трофименко прибил к панкам.

Панки называли себя анархистами и даже воткнули возле костра в землю черный флаг. Одного из них Трофименко узнал — это был Гниль, одно время общавшийся (тусовавшийся, как теперь говорят) с ИРЕАНОм. Гниль, похоже, не узнал иреановца. Впрочем и сам Трофименко не сделал ничего, чтобы быть опознанным — он знал цену подобным «анархистам», а потому к панкам относился

настороженно, о своих взглядах не распространялся, да и вообще старался лишних разговоров не заводить, а больше присматриваться. Предчувствие его не обмануло. Мало того, что панки, как и следовало ожидать, имели об анархизме весьма смутное представление, они еще прекрасно столковались с баркашами, пришедшими к их костру вести задушевные беседы. После того как один из панков заявил: «Я — не нацист, я — безжидист. «Чурок — на плантацию, евреев — в резервацию!» — вот мой девиз», Трофименко про себя порадовался, что уже темно, и ни одна собака не разберет, какого цвета флаг.

\* \* \*

Костя пришел к БД уже в темноте. На полпути от метро его перехватил репортер и спросил, не защитник ли он БД. «Нет, — ответил Костя, — я только собираюсь им стать». Репортер поинтересовался, что толкнуло Костю на этот шаг. Эллин ответил, что толкнуло его чувство голода — на фабрике, где он работает, нет ни работы для людей, ни денег на зарплату, и если Ельцина не остановить, то он, Эллин, рискует протянуть ноги. Репортер спросил, не пытался ли Эллин найти другую работу, ведь он еще совсем молодой. Эллин ответил, что, по его сведениям, сейчас на всех фабриках творится то же самое, если не хуже, и конца этому не предвидится. Репортер заметил, что, кроме фабрик, есть еще и частные фирмы, и туда-то уж Костю наверняка возьмут, ну хотя бы даже охранником, раз он такой молодой и смелый. В журналистском мозгу, видимо, не укладывалось, что молодой здоровый парень не видит для себя лучшей доли, чем работа на фабрике. Косте нечего было возразить. Ведь подался же после армии в охранники Санька Босс; ему, правда, и оружия не надо — он одним видом мог бы напугать до смерти, но подался и Серега Балашихин, который и с виду-то был не на много сильнее Кости (а на деле, пожалуй, и послабее) и служил не в спецназе, как Босс, и даже не в десанте, а в самых что ни на есть железнодорожных войсках. Правда, было у Кости в душе что-то такое, что отталкивало его от подобного выбора, но что именно, Эллин объяснить не мог. «Ну что ж, — усмехнулся он, — кто-то охраняет фирму от конкурентов, чтобы получать деньги, а кто-то охраняет одно правительство от другого, чтобы получить работу, за которую ему будут платить деньги. Чем это хуже?» И оставив репортера с разинутым ртом, свернул на Дружинниковскую улицу.

На Дружинниковской стоял милицейский кордон, всех выпускавший и никого не впускавший, но дело свое он делал халтурно — народ брал чуть правее и, обойдя ближайший дом, проходил к БД через двор. Костя, не мудрствуя лукаво, сделал то же и оказался у БД.

За сутки символические баррикады, окружившие мятежную территорию, стали несколько солиднее, но не настолько, чтобы Костя не поразился их хлипкости. Несколько баррикад появилось и на набережной, но «дыр» все еще хватало, что тоже бросалось в глаза. По дороге к БД, в метро, Эллин обратил внимание на стоявшего рядом с ним мужика, читавшего «Московский комсомолец», точнее, на саму газету, а еще точнее, на карикатуру в ней. Недовольная тетка распекала сынишку за то, что тот раскидал игрушки: «Что ты себя ведешь, как коммунист у Белого дома?» Под карикатурой была подпись: «Коммунисты разломали около Белого дома несколько дорожек и построили из них баррикады». Теперь Эллин внимательно огляделся, но ничего похожего на груды булыжника или битого асфальта не обнаружил. Видимо, разрушенные коммунистами дорожки были не очень большими.

Народ кучками сидел у костров. Над баррикадами и кострами развивались флаги самых разных величин и расцветок, хотя больше всего было черно-желто-белых императорских и флагов Советского союза и РСФСР. Анпилов, как и в первую ночь, призывал всех записываться в «подразделения». Костя подошел поближе к зданию, ища, у кого бы записаться, и напоролся на цветной, хоть и явно кустарно

сработанный плакат, приклеенный к стене БД. На плакате в каких-то змееобразных позах изгибались два долговязых и удивительно носатых типа. Подпись гласила: «А правда, Шлейма, хорошо иметь двойное гражданство — жить там, а гадить здесь?» Кто-то от руки уже дописал: «Правда, Растропович!»

Костя задумчиво обошел всевозможные стены и столбы, какие только были вокруг, изучая наклеенные на них листовки. Цветных больше не было, а в остальном они все были одна другой краше. По смыслу листовки почти не различались, и весь этот смысл сводился к одному — во всем виноваты евреи, в очередной раз, по обыкновению, продающие многострадальную Россию. Кому, интересно знать, — Костя очень хотел бы видеть того идиота, который согласился все это купить.

Идиот идиотом, а записываться Косте как-то сразу расхотелось. У него не было ни малейшей гарантии в том, что хотя бы половина собравшихся имеет сколь-нибудь ясное представление о том, чем, собственно, греческий шнобель отличается от еврейского. Но и уходить ему не хотелось. Присутствие здесь Маркелова как-то не вязалось с содержанием плакатов. Эллин походил между костров, присматриваясь к защитникам БД. Обошел почти всю осажденную территорию и вышел на лужайку, прилепившуюся к стадиону «Красная Пресня». От лужайки, являвшей собой пологий склон низенького пригорка, на котором стадион расположился, его (то бишь стадион) отделял высокий забор — где дощатый, а где — из железных рам с проволочной сеткой, как пружинная кровать. Местами вдоль забора тянулась тонкая рваная полоса зарослей американского клена — того самого, который растет на любой помойке и который многие путают с ясенем. Из-за нее кое-где выглядывали дохловатые липы. С другой стороны забора вплотную к нему росли могучие тополя и ивы. Между липами и забором проходила тропинка — довольно широкая, но не покрытая ни асфальтом, ни брусчаткой, казалось, ее просто протоптали те, кто захаживал сюда по малой нужде. С другой стороны лужайку ограничивала асфальтовая дорога. Одним своим концом лужайка упиралась в еще одну асфальтовую дорогу — продолжение Дружинниковской улицы, а другим — раньше в Конюшниковскую улицу, а теперь — в заднюю линию баррикад. На этом самом конце стоял памятник восставшим рабочим 1905 года, теперь тоже ставший частью баррикады.

Недалеко от памятника на лужайке горело два костра, один — чуть поближе к кленам, другой — к памятнику и асфальтовой дороге. У того костра, что был ближе к деревьям, сидело с десяток панков и какой-то мужик в телаге.

К панкам Эллин относился слегка настороженно. Не потому, что знал за ними что-то плохое, а потому, что вообще мало что о них знал. В Люберцах панков почти не было, если кто из люберецких и панковал, то делал это в Москве. Как-то так считалось, что жителю Люберец, если кем и быть, так любером. Даже костин младший брат и его одноклассники гордо называли себя люберами, хотя для настоящих люберов были еще сопляками, да и вообще от прежних люберов уже оставалось только одно название. О знаменитых побоищах с металлистами Эллин только слышал от тех, кому теперь было здорово за двадцать, если не за двадцать пять, хотя стычки с поволжскими гопниками были еще на его памяти. И хотя в дни костинной юности спрос на бандитов и убийц, экзотически именуемых рэкетирами и киллерами, да на охранников и телохранителей еще только-только появлялся, но уже чувствовалось, что жизнь меняется, и все теперь будет по-другому. Однако ж какие-то старые традиции были еще живы.

После школы Костя поступил в МИРЭА, да и тут же махнул на Валдай с археологами, а это была своя особая субкультура. Интересные были ребята, хотя все в основном — гуманитарии, задвинутые на истории. Впрочем, были и люди вроде Кости, поехавшие просто пожить на свежем воздухе,

поразмяться с лопатой, а заодно — покормиться на халяву и подзаработать хоть что-то (тогда в археологической экспедиции еще можно было что-то заработать) — так сказать, сочетать приятное с полезным.

Потом началась учеба, и стало как-то не до панков. Кое-кто из костинной группы тусовался и с панками, и даже с хиппами, но Костя на первом курсе еще чуть не каждую неделю навещался в родные Люберцы, так что времени на московские тусовки у него не оставалось. Да и не любил Костя Москву с ее железобетонным ландшафтом и особенно — центр, потому что вырос на улице, от которой рукой было подать до лесов и песчаных карьеров. Так что с начала каникул до конца августа он в Москве почти не появлялся, и что там тогда творилось с этим самым ГКЧП, не видел и видеть не мог, потому как опять был в экспедиции с археологами, только теперь с другими и не на Валдае, а в Крыму. Однако после «недворота» он, как и многие тогда, «заболел» политикой. Оказалось, что живущий с ним в одном доме Володя Сиротин — левый социал-демократ, и через него Костя, собственно говоря, и познакомился со Стасом Маркеловым. Впрочем, это продолжалось недолго, эсдеки Косте не понравились, и только с Сиротиным и Маркеловым он сохранил хорошие отношения, потому что Сиротин жил рядом, а Маркелов просто был хороший парень и почти одного с Костей возраста. При этом Маркелов был классический московский тусовщик, каких еще поискать. Но он был не панк — скорей уж хиппарь.

Ну а в начале ноября Костя познакомился с Ксенией, и тут уж вообще стало ни до чего, только и было, что Ксения-работа-учеба, а потом просто работа-Ксения. Днем — на работе, вечером — с Ксенией. Какие уж тут панки!

Как раз в тот момент, когда Эллин как следует рассмотрел панков, у костра возник невысокий шустрый мужичок в казачьей форме, похожий на молодого задиристого петушка. За спиной у мужичка висел автомат со складным прикладом. Казачок поинтересовался у панков, кто они такие, и, услышав в ответ: «Анархисты», безапелляционно заявил панкам, что они — сторонники бардака, и никакого порядка у них нет, но, тем не менее, помочь БД они могут — в качестве разведчиков. «Кто из вас захочет, — пояснил казачок, — пусть подойдет ко мне. Спросить сотника Морозова». И тут же ускакал куда-то к другой баррикаде. Эллин проводил его взглядом и подошел к другому костру.

У костра, положив в качестве скамеек какие-то коряги, сидело человек семь и, посмотрев на их лица, Костя безошибочно определил, что среди них определенно есть эти самые, которые продают Россию. Само по себе это еще ничего не говорило — человек может быть чистокровным сыном Сиона и одновременно антисемитом, но те, на кого Костя обратил внимание, не производили впечатление людей подобного рода. Кроме того, в них было что-то располагающее. Эллин уселся на корягу и попытался завязать разговор с представителями малого народа.

Темноволосый парень, равно как и его подруга, были хоть и приветливы, но в общем не так уж сильно настроены на общение с кем-то третьим. Зато девушка Рита оказалась весьма словоохотливой. Правда, с ее слов Костя понял, что она сама никуда не записывалась и рассчитывает действовать по обстановке. Что ж, по обстановке, так по обстановке. Эллин остался здесь.

\* \* \*

Трофименко довольно скоро наскучило сидеть у панков, и он начал присматриваться к обитателям соседнего костра. Там сидело несколько обычных защитников БД — угрюмых мужиков лет тридцати пяти-сорока и еще несколько человек, на которых Трофименко сразу обратил внимание: невысокая ширококостная деваха с широким и чуть плоским лицом, высокий темноволосый парень лет

двадцати пяти с симпатичной светловолосой подружкой и еще один парень лет двадцати, похожий на армянина. Все четверо вроде бы ничем особенным от остальных не отличались, и все-таки во всех них было что-то такое, что позволило Трофименко с первого же взгляда выделить их из безликой толпы, какая-то интеллигентность, что ли, или одухотворенность. Это что-то неуловимое было и в Диме Старикове, и во многих других неформалах, хотя этого не было ни в Бийце, ни в Голицыне, ни в самом Трофименко; вернее, в них это тоже было, но в меру — Голицын и Трофименко одинаково естественно смотрелись и в компании неформалов, и в толпе анпиловцев или руцкистов. Как, впрочем, и парень, похожий на армянина, — не будь тут этих троих, он бы ничем не выделялся из остальных, кроме разве что своей южной внешности.

Трофименко подошел к неформалам, и тут же широколицая приветствовала его словами: «Я тебя знаю, ты участвовал в кампании за Родионова и Кузнецова!»

Родионов с Кузнецовым были обычными панками, но считали себя анархистами и часто ошивались на митингах. Весной девяносто первого они пошли на митинг, организованный при участии Червякова — идеолога «анархо-капитализма», со временем ставшего (как и следовало ожидать) обычным либералом, и в подземном переходе нарвались на двух омонцовцев в штатском. Омонцовцы начали панков бить, но те тоже оказались не лыком шиты и полоснули одного из нападавших бритвой по щеке, а другому распорол перочинным ножом куртку. Тем не менее, ребят все-таки скрутили и отправили в «Матросскую тишину».

Дело это получило огласку, тем более, что ребята в тюрьме пересидели смену власти и стали первыми политзаключенными эпохи демократии. Их судили дважды. Первый суд дал им срок; второй — освободил, оставив за ними срок уже отбытый — за то, что они якобы, подвергшись нападению хулиганов, не разобрались и бросились резать мирно дремавших рядом омонцовцев. При всем лицемерии суда это была какая-никакая победа. Поскольку во второй раз ребят судил Мосгорсуд, получивший прозвище Мосгорштамп за то, что ни одного решения не принимал, не посоветовавшись с вышестоящей инстанцией, постольку, видимо, сыграла свою роль и та самая кампания за освобождение ребят, в которую ввязались не только российские анархисты, но и зарубежные.

Трофименко действительно участвовал в этой кампании, включавшей в себя и голодовку нескольких человек у Белого дома (почти на том самом месте, где теперь горел костер), и митинги, благо, тогда их еще можно было организовывать практически свободно. Впрочем, уже осенью началось закручивание гаек — когда ИРЕАН начал проводить еженедельные митинги протеста против «освобождения цен», менты начали резко наезжать, хотя митинги проводились ни где-нибудь, а «под копытом», то есть у памятника Юрию Долгорукому — на месте, которое тогда считалось «московским Гайд-парком». Митинги ИРЕАНа иной раз не разгонялись только потому, что на них собиралось человек по двести прохожих, сочувствующих организаторам, и устраивать с ними драку менты тогда еще не решались. Боялись тогда менты народа. А если б иреановцы не успевали так быстро собирать толпу, то неизвестно, что бы еще было. И все-таки, хотя когда анархи, требуя освобождения «Параши и Зеленого» (панковские погонялова Родионова и Кузнецова), перекрыли улицу, их и повинтили, однако ничего им тогда за это не было, и к зданию суда анархисты приходили с черными флагами, требуя оправдательного приговора. Тогда это все было можно. Потому что демократия еще не победила.

Широколицая, которую, как выяснилось, звали Ритой, тоже участвовала в этой кампании. Участвовала она и в первой обороне БД. Тогда, по ее словам, было демократичнее, по журналистскому ксиву

внутри пускали, кофе поили. А сейчас как-то все мерзко. Не потому даже, что почти у всех тут антисемитский настрой — это бы Рита, при всем своем небезопасном происхождении, даже, пожалуй, сочла бы за первую стадию пробуждения народа, а просто гнило.

Трофименко был согласен с тем, что гнило, но что делать, было непонятно. Предложить Рите вместе куда-нибудь записаться? Но поговорив с ней, Трофименко понял, что она не горит желанием куда-то записываться. Попытаться создать свой отряд, независимый от БДшнго командования? Но ни Рита, ни ее товарищи еще толком не знали, будут ли они дальше участвовать во всем этом. Правда, пока они держались вместе, и это уже было хорошо. В таких условиях все происходит быстрее, и за ночь группа случайно познакомившихся людей может превратиться в спаянный отряд. Но постепенно становилось ясно, что этого не произойдет. Прежде всего, разговаривать удалось только Риту. Высокий парень с подругой все больше молчали, изредка обмениваясь друг с другом нежными взглядами, а потом пошли гулять по ночному повстанческому лагерю. Через некоторое время куда-то убежала бойкая Рита. Потом появилась снова и снова убежала.

Трофименко, чтобы слишком уж не мозолить глаза трудороссам (или кто там еще оставался у костра), на некоторое время наведаясь к панковскому костру, у которого, благодаря неразборчивости панков, мог затеряться кто угодно. Панки о чем-то трепались между собой. Потом к костру подошел баркаш, отличающийся от прочих представителей своей братии каким-то придурковатым выражением лица, пошептался о чем-то с панками и исчез. Минут через пятнадцать он снова появился с бухлом, и панки подсади к нему. Трофименко посидел у панковского костра еще минут десять и снова перешел к соседнему.

\* \* \*

После того как его неформалы отошли, Эллин некоторое время сидел молча, поглядывая то на огонь, то на улицу за баррикадами, а потом неожиданно для себя разговорился с перебравшимся от панковского костра мужиком в телогрейке, которого он теперь смог рассмотреть получше. Проходя мимо панков, Костя, глянув на мужика, разглядел только высокий лоб, мощные надбровные дуги, сливающиеся с такими же мощными скулами в одно полукольцо, охватывающее большие глаза, и выдающееся вперед надгубье под крупным носом — остальные части лица тонули в ночной темноте, с которой сливалась борода и волосы мужика. Борода у мужика была довольно густая на подбородке и редкая на щеках; а волосы, наоборот, на темени были поредевшие, а по бокам головы густые и, как показалось Эллину, коротко остриженные.

Теперь Костя разглядел, что волосы у мужика не только коротко, но даже и вообще не стрижены, а просто завязаны сзади в пучок, который в народе именуют «утиный хвост», причем завязаны чем-то вроде шнурка от ботинок. Разглядел он, что у мужика крупные зубы (во всяком случае, верхние), но левого переднего нет, и от этого два соседних торчат, как у моржа бивни; да и усы с бородой у мужика сильно напоминают моржовые; так что мужик от этого здорово смахивает на моржа.

А вот чего Костя так и не сумел разглядеть, так это сколько мужику лет. И дело тут было совсем не в темноте, просто есть такие люди, возраст которых невозможно определить на взгляд. Это особенность, наверное, наследуется ими с тех давних времен, когда она еще не была особенностью, а была закономерностью, когда никто из людей вообще не знал, сколько ему лет, и возраст определяли не по годам, а по каким-то другим критериям. К примеру, всех, кто принадлежал к мужскому полу, делили на мальчиков, охотников и стариков, позднее — на мальчиков, юношей, воинов и стариков; столь же примитивно делили и пол женский. По мере развития цивилизации,

такое деление уходило в прошлое, сохраняясь в основном у тех, кто по своему образу жизни был в чем-то схож с дикарями и варварами: моряков, наемных солдат, монахов-странников и иных бродяг. Мужик, очевидно, имел что-то общее с какой-то из этих категорий, во всяком случае он здорово походил на тех бичей, о которых Эллину рассказывал отчим, в молодости частенько бывавший в стройотрядах, поездивший по северам и на бичей насмотревшийся. И как ни пытался Костя понять, сколько же его собеседнику, но так и не понял. Видно было, что мужику уже перевалило за двадцать и еще не перевалило за пятьдесят, но точнее сказать было невозможно — с равной вероятностью ему могло быть и двадцать два и сорок восемь. Это, впрочем, не сделало разговор с ним менее интересным. Мужик, правда, сам вопросов почти не задавал, но на костины вопросы отвечал охотно и обстоятельно.

Сам он — анархист. Нет, он — не с панками. Эти сами толком не сумеют объяснить, что они понимают под анархизмом, а он — идейный анархо-коммунист-кропоткинец. Ничего странного — коммунизм даже по Марксу может быть только безгосударственным. Только, по Марксу, нужно сперва государство — диктатура пролетариата, которое будет отмирать, а анархисты считают, что никакого промежуточного государства не нужно. Так что, анархо-коммунизм — самое что ни на есть анархическое из анархических течений. Анархо-коммунистами были, к примеру, Кропоткин, Махно.

Да, Махно был прекрасный человек, который сделал много хорошего и был крайне популярен в народе, потому на него и стали вешать всех собак. Его обвиняли во всем от предательства до антисемитизма, хотя у него полно было евреев — тот же Коган, тот же Лева Задов, а за погромы он, между прочим, расстреливал. Единственное, что он просил от красных, это чтобы ему, вернее, восточно-украинским крестьянам и рабочим выделили автономный Свободный район. Ему обещали, а потом надували. В восемнадцатом красные драпали от Деникина и, чтобы выкрутиться перед народом, валили все на Махно, который тогда единственный держал фронт. В девятнадцатом Деникин повернул от Москвы, потому что Махно разгромил его тылы. Когда брали Крым, махновцы прошли через Сиваш и заняли Симферополь. А потом им приказали разоружиться, хотя с ними был договор, и за отказ перебили. Но все равно народ его поддерживал, на место убитых крестьян приходили новые. Но народ — не бездонная бочка — в конце концов, Восточная Украина обезлюдела, а сам Махно, получив четырнадцать ран, ушел в Румынию. Там он подлечился и пытался вернуться на Украину, но это ему не удалось. Умер в Париже, похоронен на кладбище Пер-Лашез. Но махновщина — не единственный опыт — во время Гражданской войны в Испании каталонские анархисты создали целые коммунистические районы, где даже деньги были отменены. А потом пришли с танками интербригады Листера — сталинисты хреновы — и заявили, что в Испании происходит буржуазная революция, а потому — никаких коммун, всю землю поделить. Правда, когда они ушли, многие коммуны воссоздались заново. В конце концов, каталонским анархистам нанесли удар в спину — пока они держали фронт, их перебили в тылу, и, в итоге, Каталонию захватили франкисты. Но анархи ушли в горы и продолжали сопротивляться — последний партизан был убит уже в пятидесятые годы.

Почему он тут? Во-первых, потому что ВС — хоть и дерьмо, но все же последняя заноза в ноге Ельцина. Во-вторых, смотрит, не выйдет ли из этого чего-нибудь путного. Тут ведь есть неплохие люди. Например, сюда приходил Биец со своими людьми — есть такой троцкист. Троцкисты? Так, исповедуют какую-то смесь сталинизма и анархизма. Короче говоря, сидят на двух стульях, если не сваливаются между, то, в конце концов, переходят на один из. Да вот у него есть бийцевская газета, Костя может посмотреть на досуге. К тому же, их куча разных течений — «тенденций», как они себя называют. Во всяком случае, работать с ними можно. Втроем с Бийцем и еще одним парнем,

который, кстати, анархист, но входит в бийцевскую организацию, мужик строил первые баррикады.

Костя спросил насчет нескольких дорожек, которые, если верить «Московскому комсомольцу», были разворочены на материал для баррикад. «Да вон она, — кивнул мужик. — Мы же ее и разбирали. Да там всего-то десяток плиток оказалось. Вон они — в той баррикаде». А Костя-то думал что «коммунисты» — это анпиловцы. «Московский комсомолец» тоже так думал. Коммунисты — это мы, анархисты, а сталинисты — коммуняки».

Почему не коммунисты? Что это за коммунисты, которые признают рынок, только с монопольными ценами, и наемный труд. То, что они называют социализмом, — обычный капитализм, только со своей спецификой. Разница госкапитализма с обычным западным не больше, чем между рабовладением в Греции и Египте. Свободному человеку, конечно, лучше было бы жить в Элладе, а рабу один чорт, что добывать — мрамор для Парфенона или камень для пирамид. Мы-то? Конечно рабы! Вся наша свобода — свобода выбирать, кому продаться. Пролетарий — наемный раб, это еще Маркс говорил. Маркс был во многом прав и близок к анархизму. Но все его последователи только и делали, что отходили от него вправо. Сначала — Ленин, потом — Сталин, Брежнев, Горбачев. Так что, зря они катят бочки на Горбачева — сами его породили.

Мимо прошли двое парней в камуфляже, и мужик нехорошо выругался. Костя спросил, кто это такие. Оказалось — нацисты. Питомцы некого Баркашева, потому в народе именуются баркашевцами. Носят на рукавах свастику, правда, стилизованную под славянскую. Без ума от Гитлера, только арийцами считают русских. Фанаты «русского порядка». Себя называют «Русским национальным единством». У Музея Ленина между ними и леваками уже были стычки. Если дорвутся до власти — наделают дел. А если нет, то из них пожалуй, еще и начнут делать героев. Ведь восхищаются же рыцарями, которые были обыкновенными бандитами. Балдеют от мушкетеров Дюма, которые только и делали, что бухали, да слуг били. Восхищаются Петром Первым, который строил города на костях. Да, конечно, величие России, только те мужики, что сдохли под Азовом и в балтийских болотах — тоже Россия. Для кого он прорубал окно в Европу? Для народа, что ли? Для себя. Да, время было великое. Но мужики об этом не знали. Наше время — тоже великое — от Балкан до Памира Евразию трясет. А мы думаем не о величии, а о том, что нам жрать нечего. Розы романтики растут на дерьме истории. Потомки нюхают розы, а современники — дерьмо.

Разговор прервал делегат от одного из более дальних костров, искавший помощников для строительства баррикады. Помогать ему вызвались мужик, Эллин и парочка панков.

У баррикады, перекрывавшей выход на Дружинниковскую, к ним присоединились еще трое мужиков, уже возившихся с баррикадой, так что бригада получилась внушительная. Выйдя за баррикаду, она свернула куда-то во дворы и вышла к какому-то полуразрушенному строению. Стены и крыша строения были еще целы, но от оконных рам и дверей остались одни воспоминания, и перекрытия наполовину обвалились, завалив все пространство внутри строения огромными бревнами. Защитники БД залезли внутрь и принялись вытаскивать эти самые бревна. На шум сбежались менты, и несколько секунд повстанцы и окружившие их стражи порядка молча смотрели друг на друга. Затем менты перекинулись с повстанцами парой фраз и, убедившись, что с одной стороны разрушается пока только развалюха, которую и так скоро сломают, а с другой — противник настроен хоть и не агрессивно, но достаточно решительно, исчезли так же мгновенно и неожиданно, как и появились.

За первую ходку бригада притащила четыре бревна — по бревну на два рыла. Панкам, впрочем, и

этого хватило, а может их просто больше привлекало непосредственное строительство, чем ношение стройматериалов; словом, они остались укреплять баррикаду. Остальные носильщики сделали еще одну ходку. На этот раз бревна были полегче, но большинство все равно предпочло работать парами. Только Эллин и мужик в телеге взяли себе по бревну. У мужика выбились из завязки его длинные волосы, и он стал похож на Христа, несущего крест (если только Христос с крестом может быть в телеге).

Когда вторая партия бревен подоспела к баррикаде, первая уже была уложена. Панки встретили Эллину и мужика в телеге, подошедших первыми, словами: «Привет качкам!» и снова принялись за строительство. Эллин, услышав о «качках», поморщился. Не потому, что не любил «качков», а потому, что причисление к «качкам» его уже достало. Люди часто мыслят штампами, и многие, с кем Эллину приходилось общаться, узнав, что Костя — из Люберец, почему-то сразу были уверены, что он — «качок». А Костя, между прочим, терпеть не мог возни с железками, хоть дома у него и стоял двухпудовик.

Чем он всерьез занимался, так это борьбой, сперва — классической, потом — вольной; но с этим ему здорово не везло, потому как был он тогда высокий и тощий, и ему легче даже было бороться с более тяжелым противником, чем с низенькими крепышами из своей категории, которые, хоть на лопатки его положить и не могли, но зато вечно переводили в партер и побеждали по очкам. И душа у Кости лежала к борьбе, и талант в этом деле был, а вот фигура подводила. В вольной ему, правда, было полегче — можно было в случае чего ухватить противника за ногу или просто за задницу, но зато в группе вольников народу и так некуда было девать. В итоге, промучился Костя в секции почти четыре года — с десяти лет до четырнадцати, и один чорт — отчислили его как неперспективного. И зря, между прочим, отчислили, потому что уже через год он вдруг перестал расти в длину, а к шестнадцати сильно раздался в плечах и приобрел такую фигуру, о какой любой борец бы мечтал.

После этого, Косте, казалось, сам бог велел «качаться», но он предпочел делать это не с гирями, а на турнике, чередуя с пробежками километров в пять-десять, потому как отчим как-то сказал ему, что в стройотряде нет человека дохлее, чем «качок» или гимнаст — силы у них много, а выносливости — ноль, двухпудовик одной рукой выжать могут, а полукилограммовый кирпич тысячу раз перенести с места на место — слабо. И, кстати, прав оказался отчим — в девяностом на Валдае костин одноклассник Санька Бычков — заядлый «качок» выдыхался одним из первых, а Эллин мог махать лопатой, когда не только Бычок, но и все вокруг языки высывали.

Со второй партией бревен возились чуть подольше, чем с первой, хоть теперь строителей было больше, а бревен меньше. Напоследок панки приволокли откуда-то здоровенную ветку, отломанную ветром от какого-то столетнего вяза, и вделали ее в баррикаду.

Сделав свое дело, панки ушли, ушел и мужик в телеге, и только Эллин почему-то задержался и минут десять стоял, вглядываясь в смутные очертания домов с той стороны баррикады. Когда он вернулся к памятнику, никого из неформалов у костра все еще не было. Мужик в телеге спал, повернувшись спиной к панковскому костру и чуть подогнув ноги, чтобы ступни были поближе к огню.

Эллин уселся у костра и несколько минут сидел молча, рассматривая языки пламени. Глядя на освещающий серую мокрую ночь костер, он вспомнил валдайскую экспедицию, потом почему-то вспомнил Ксению. Этого ему хотелось меньше всего. Костя прекрасно знал, что не пришел бы сюда, не испытай он на себе всех экономических радостей, которыми его обеспечило правительство, но теперь он подумал, что, кто знает, может он также не пришел бы, не вспоминаясь ему к месту и не к

месту Ксения. Во всяком случае, он очень надеялся, что теперь ему будет не до воспоминаний о ней.

Костя встал и пошел наискосок к другой баррикаде.

## ГЛАВА 2

\* \* \*

Трофименко проснулся от сырости примерно через полчаса после того, как уснул. Панков у костра осталось только двое — Гниль и еще какой-то парнишка. Трофименко поднялся и перешел к соседнему костру.

Никого из неформалов там уже не было. Зато появился молодой парень в камуфляже, судя по разговору, имевший среди своих предков казакишек и сам причислявший себя к казакам. Собственно говоря, о казаках и шел разговор, постепенно переходя от реальных казаков к литературным, — точнее, к Григорию Мелехову, которого кто-то из собеседников казака похвалил (видимо, для того, чтоб польстить парню). «А мне мой дед про Мелехова говорил, — возразил казачок, — вот из-за таких, как он и погибло казачество. Потому что он болтался, как г...о в проруби — то к белым, то к красным. А надо — один раз дал присягу и все, ни к кому больше не переходи». Собеседники покачали головами и согласились.

К своему костру начали подтягиваться панки. Гниль и сидевший рядом с ним парнишка, наоборот, куда-то слиняли.

Время близилось к шести. В лагере почувствовалось какое-то движение. Трофименко, прошедшись по лагерю, увидел, что к баррикаде, перекрывающей Дружинниковскую, со стороны ментовского кордона начали подтягиваться свежие защитники, правда, пока только единичные, и, кажется, кто-то начал, наоборот, покидать баррикады. Осаждающие не проявляли никакой реакции. Вернувшись к памятнику, Трофименко встал уже не у одного из костров, а где-то между ними, ему теперь было все равно, где стоять, и так он стоял и смотрел на часы — он решил уйти ровно в шесть.

Почти никого из панков у костра уже не осталось. Куда-то исчез и флаг. Зато вместо панков появились два каких-то прибалтанных молодца с поволжской внешностью, то ли рассчитывающих тут чем-нибудь поживиться, то ли просто не нашедших места для ночлега. У других костров на них косились, поэтому они и прибились к панковскому. Тот из них, что был покрепче, задирался к какому-то парнишке в камуфляже, пришедшему вместе с панками, выясняя, хорошо ли парнишка умеет драться и, если нет, то зачем надел военную форму. В конце-концов, объект приставаний не выдержал и слинял пододру-поздорову. Потом молодец, заметив выглядывающие из-под полы трофименковского ватника ножны, поинтересовался, не нож ли это, и, получив утвердительный ответ, сказал: «Молодец!» Трофименко никак не отреагировал на этот комплимент. Молодец попытался было задраться к казачку, но тот уже уходил. Второй парень — габаритами помельче первого — все уговаривал товарища пойти попромышлять на Киевский вокзал и, в конце концов, уговорил. У панковского костра не осталось никого.

Трофименко подошел к догорающему костру и подкинул в огонь обломок ящичной дощечки. Пламя охватило деревяшку, продлив свое существование. Когда костер снова стал затухать,

трофименковские часы показывали пять минут седьмого. Трофименко повернулся и пошел в сторону Дружинниковской улицы. Выйдя за баррикаду, он увидел двух человек, идущих ему навстречу. Кто-то шел сзади, также покидая лагерь. Начиналось обычное осеннее утро, и возле входа метро, где не было видно милицейского кордона, ничто не напоминало о дрящейся уже вторые сутки странной войне. Только мужики с хмурыми лицами, выходившие из метро и входившие туда, имели к ней какое-то отношение. Но на то, в конце концов, и выход метро, чтоб через него входили и выходили.

\* \* \*

Костя покинул лагерь в восьмом часу. Он уже вышел за ментовский кордон и шагал себе к метро, когда дорогу ему преградил какой-то тип лет двадцати в камуфляже и с баркашевой свастикой на рукаве. В довольно грубой форме тип поинтересовался у Кости, что он, Костя, тут делает. «Иду, как видишь», — отвечал Эллин. Типу ответ, видимо, не понравился, и он спросил, что, собственно, Костя здесь забыл. Костя объяснил, что он забыл, после чего тип спросил, записан ли Костя в какое-нибудь «подразделение», и узнав, что нет, весьма агрессивно заявил: «Так вот, раз не записан, даю тебе две минуты, и чтоб я тебя здесь больше не видел!»

Баркаш был выше Эллина сантиметров на десять. Но Эллин сей факт не особо трогал, потому как Эллин давно привык, что большая часть взрослых людей мужского пола — за вычетом, может быть, тех, кому уже за сорок — хоть на несколько сантиметров, да выше его; и даже Тамара, женщина крупная, была на два сантиметра выше Кости, ибо Костин рост был всего-навсего метр шестьдесят восемь. Не шибко много, но и не смертельно — знаменитый Александр Засс, прозванный русским Самсоном, при таком росте весил восемьдесят килограмм, поднимал лошадей и рвал железные цепи. Конечно, до Засса Косте было далеко, Костя, по сравнению с Зассом, был просто дистрофиком, однако ж, с баркашем он был явно из одной весовой категории.

Вежливо, но с достоинством Костя объяснил собеседнику, что через две минуты тот его точно не увидит, если только не увяжется за ним до метро, но завтра или послезавтра он тут будет снова, и его не очень волнует, кто его при этом будет видеть. Баркаш предупредил, что в таком случае Костю, как только он появится, выкинут к чертовой матери. «Почему?» — любопытствовал Костя. «Потому», — отвечал баркаш.

Костя потрогал нос. Боксом, в отличие от борьбы, он никогда не занимался, но старый друг костиного отчима Михал Иваныч Руцев, в молодости увлекавшийся боксом и даже занимавший пару раз не то второе, не то третье место в каких-то соревнованиях областного масштаба, дал в свое время Эллину несколько практических советов: как закрываться от ударов, как бить без замаха и, в частности, посоветовал перед дракой разминать нос, чтоб труднее было разбить. И хоть Костя кулаками махать не любил и даже в уличной драке норовил сперва врага завалить, а уж потом добить, но только никаких борцовских привычек за ним нигде, кроме как непосредственно в драке, не проявлялось, а вот нос заранее мять он привык. Между тем баркаш истолковал этот жест по своему: «Да-да, поэтому самому. Вам здесь делать нечего». Костя, не найдя сходу никаких рациональных аргументов, предложил баркашу глянуть в зеркало на себя самого. Баркашу Костино упрямство не понравилось, но за Костей шагах в десяти стоял ментовский кордон, поэтому баркаш просто похлопал Костю по плечу, сказал: «Ну, короче, я тебя предупредил» и, помедлив с пару секунд, зашагал в сторону соседнего двора. Возможно, он надеялся, что Костя неадекватно отреагирует на его фамильярность, но Эллин не хуже баркаша знал, как надо себя вести в присутствии ментов, поэтому только ответил: «Я вам очень признателен. Сэр!» и пошел своей дорогой.

\* \* \*

Во время жестоких боев и отчаянных схваток не одни только трусы оказываются со срочным поручением в тылу или с медвежьей болезнью в госпитале. Наверно, не глупы были народные сказители, сложившие былинку о последних минутах Добрыни Никитича, в которой рассказывается, что аккуратно перед решающим боем с татарами пришла к Добрыне смерть, да и утащила богатыря, невзирая на отчаянные просьбы последнего дать ему хоть три часа отсрочки на разборку с недругами.

Восемнадцатилетний Сашка Мохов — потомственный РКРПшник был одним из идейных трудороссов. Правда, пообщавшись с левой касовкой Юлькой Шепельковой, а потом и с другими анархами, Мохов увлекся анархизмом, но со временем это увлечение стало проходить, хотя к анархистам Мохов по-прежнему относился с симпатией. Будь Мохов здоров, он уже через час после президентского указа был бы у БД. Но судьбе было угодно вывести его из игры. За несколько дней до указа Мохов, зависший по семейным делам у двоюродной тетки в в Коломне, свалился с тяжелейшей формой дизентерии.

Вечером двадцать второго Мохов оказался в Москве на Соколиной горе. Утром, оглядевшись, он был неприятно удивлен составом своих соседей по палате. Таковыми оказались мент, ОМОновец и ВВшник из Дивизии Дзержинского. Дзержинцев вообще было много в отделении. «Чем их там кормят? — удивлялся Мохов. — Или они косят?»

Сосед не был похож на косильщика. Скорей, наоборот, он, как и Мохов, переживал, что по нелепой случайности в самый крутой момент оказался выведенным из игры. Правда, моховской идейностью солдат не отличался, у него просто руки чесались — хотелось подраться, хоть с защитниками БД, хоть с чортом лысым. «Поведи такого на мать родную — убьет и с удовольствием!» — думал Мохов, слушая разговоры ВВшника с товарищами по оружию.

Сам Мохов в первый день почти не разговаривал. Говорить своим врагам комплименты ему, естественно, не хотелось, а говорить им то, что он о них думает, было небезопасно.

\* \* \*

Добравшись до фабрики, Костя первым делом пришел в кабинет к начальнице цеха и попросил две недели за свой счет. Начальница согласилась без звука — хоть продукция фабрики и находила себе сбыт в ширпотребе (пол-Москвы носит сумки и рюкзаки, обшитые лентами с фабрики №2), однако в последнее время на всех работы все равно не хватало, а людям было нечем платить; ушли в небытие «черные субботы», и сейчас, несмотря на конец месяца, в цеху вполне мог управиться и один грузчик, зато представлялась возможность сэкономить половину костинной зарплаты.

Вопрос о Белом доме в разговоре не встал. Во-первых, начальница хотя и не любила Ельцина, которому не могла простить экономический развал, и была твердо уверена, что любой нормальный человек испытывает к президенту аналогичные чувства, но при этом она совсем не представляла, чтоб простой грузчик, как бы он ни не любил «царя Бориса», мог сунуться «в политику». Не то что она не могла в это поверить, а просто в голову ей этого не приходило. Во-вторых, она, как и положено хорошей начальнице, уже успела пронюхать о том, что произошло между Костей и Тамарой, и не сомневалась, что Тамара за ночь увалаля Костю так, что тому стало не до работы. Начальнице было известно, что Костя — далеко не миллионер, просто так от половины месячной зарплаты ему отказываться не резон, и это, по мнению начальницы, подтверждало ее гипотезу. Все на фабрике

знали, что в прошлом Погудина, по выражению своих подруг, «ходила в золоте», потом ситуация изменилась — то ли годы начали сказываться (хотя разве для нынешней женщины тридцать пять — возраст?), то ли сделала свое дело перестройка — старые хозяева жизни стали потихоньку уходить в тень, а к новым Тамара так и не смогла приспособиться — но только вот уже лет пять она не получала прежних подарков, и уже сама время от времени сдавала серьги или брошку в комиссионку, чтобы презентовать своему кавалеру часы; однако Тамара еще не все растратила, и уж, во всяком случае, на Костю ей должно было хватить.

Тамара никогда не была проституткой в полном смысле этого слова — она была любительницей, а не профессионалкой и к дарам мужчин относилась как спортсмен-любитель к своим медалям — ей дорог был сам факт подарка. Потому она и предпочитала получать не деньги, а серьги, кольца и иные презенты, хотя их происхождение объяснить мужу было куда труднее; потому и к новому положению вещей отнеслась философски, и это ее отношение как-то незаметно передалось всем, кто ее знал. Так что начальница отнюдь не осуждала Костю за то, что тот, как она считала, собирался какое-то время жить за счет Тамары. Кто ж виноват, что Погудина — такая женщина — ни один мужик после хорошего общения с ней не в состоянии нормально работать? Сам же Эллин здорово бы разозлился, если б узнал, что о нем думают на работе. Как они с теткой будут возмещать предстоящую финансовую потерю, Костя толком пока не представлял, однако решил на нее пойти. «Так один раз как-нибудь выкрутимся, — рассудил он. — А вот если цены еще раза в два подскочат...»

От начальницы Костя, даже не простившись с Тамарой, махнул в Беляево к тетке. Теткина пятиэтажка-хрущоба, стоящая всего метрах в ста от метро, была выстроена на месте огромного колхозного сада, который когда-то тянулся аж до того самого места, где теперь стоял ксеньин дом. От сада теперь остались только отдельные, разбросанные по району яблони и груши, да последний кусок, примыкающий к школе, в которой в свое время училась Ксения; а весь район уже был застроен — до самого ксеньино дома стояли пяти- и девяти-, и двенадцатизэтажки и даже шестнадцатизэтажные башни, а дальше, до самого Ленинского проспекта тянулись корпуса разных институтов, школы милиции и какие-то непонятные стройки. Даже не верилось, что за каких-нибудь пять лет до рождения Ксении там были поля, овраги, покрытые рощами, и озера, по которым ксеньин брат — тогда еще восьмилетний мальчишка — плывал на плотках и охотился на тритонов.

В своей пятиэтажке тетка жила в четвертом подъезде в семьдесят пятой квартире и очень нервничала от того, что по соседству, на одной с ней лестничной клетке находилась семьдесят третья. Тетка почему-то считала, что сочетания единиц, троек и семерок приносят несчастья. В доказательство она приводила и число тринадцать, и роковую для известных поэтов цифру тридцать семь, и еще какую-то чертовщину. Сказать по правде, квартира семьдесят три и в самом деле пользовалась дурной репутацией. Сначала в ней жил какой-то псих, который периодически кидался на соседей, после чего надолго исчезал в дурдом, но потом опять появлялся. Когда он, в конце концов, обосновался в дурдоме навечно, а может быть, просто отдал концы, в квартире поселилась тридцатилетняя мордовка, которую через два года убил бутылкой ее собственный любовник. Потом здесь жили какие-то подозрительные мужики с Кавказа, которые приезжали по ночам, а уезжали ни свет, ни заря и никогда не приводили женщин (что для кавказца — явно странно). Потом — вообще чорт знает кто.

Костю это в данный момент не волновало. Он и так-то уже был сонный, а в метро его совсем укачало, поэтому, добравшись до квартиры, он только перекинулся с теткой парой фраз и тут же завалился спать. Для тетки факт костинного пребывания у БД и уход племянника в бесплатный отпуск были полной неожиданностью, однако она эти поступки сразу же искренне одобрила. Политические симпатии тетки тут были ни при чем, если бы Костя решил на пушечный выстрел не подходить к

Белому дому, результат был бы тот же. Тетка всегда одобряла костины поступки, даже если их не одобрял кто бы то ни было другой, включая костиных родителей. Она была без ума от своего племянника, может быть, потому, что считала себя косвенной виновницей появления Кости на свет, ведь это она когда-то познакомила свою тогда еще семнадцатилетнюю сестру с Ираклием Капитанаки.

Костя не помнил, как он плюхнулся на диван и провалился в сон. Однако через четыре часа он проснулся бодрым, свежим и хорошо соображающим. Поднявшись с дивана, Костя первым делом полез в шкаф и извлек оттуда старую вылинявшую, но на вид еще вполне целую болоньевую куртку и слегка продранный, зато удобный и теплый свитер, связанный когда-то теткой для ее младшего сына. Эта была походная экипировка — официальные визиты в таком гардеробе делать, разумеется, не рекомендовалось. Впрочем, для полевых условий вещи выглядели вполне сносно, чему в немалой степени способствовало теткино мастерство. К примеру, две узкие полоски более темной болоньи, нашитые у куртки на груди, как казалось на первый взгляд, просто для украшения, на самом деле имели совсем другую функцию: правая была пришита просто для симметрии, а левая была заплаткой, закрывающей длинный разрез. Куртку распорол в восемьдесят восьмом гастролер не то из Казани, не то еще откуда-то из тех мест. С гостями из Поволжья, которые, если верить газетам (чего, впрочем, как известно, делать нельзя), буквально терроризировали Москву, Эллин столкнулся только раз в жизни, да и то прицепились они не непосредственно к нему, а к Андрюхе Попову, с которым Эллин, возвращавшийся домой от тетки, случайно столкнулся неподалеку от трех вокзалов.

С Поповым Эллин был далеко не в лучших отношениях. Непонятно почему, но Поп постоянно пытался доказать Эллину, что борцы — щенки против качков; подобные вещи легко доказывать, когда ты на два года старше того, кому доказываешь. По другим сведениям, дело было в другом — просто Поп приревновал Эллина к его однокласснице Светке Петровой, гулявшей с Попом, но только это сомнительно, потому что Эллин Петровой был до лампочки, и Поп это прекрасно знал. Как бы то ни было, но Поп доставал Эллина уже почти год, и в Люберцах Эллину с Попом лучше было бы не встречаться. Однако здесь они были вроде как земляки в чужом городе, и ссориться им было не с руки, так что встретились они довольно мирно, и Поп до Эллина не докапывался, а докопались до самого Попа трое пацанов из Поволжья, которым не понравились его клетчатые штаны.

Ребята явно рассчитывали на численный перевес и совершенно напрасно рассчитывали, потому что не успели они начать драку, как на горизонте появились приехавшие с Попом Босс и Балашихин, которые сходу ринулись в бой; а поскольку Босс уже тогда в драке стоил, по крайней мере, двоих, у волжан не оставалось ни малейшего шанса на победу. Впрочем, и до избиения их дело не дошло, потому что подросшая милиция свинтила всех семерых; но до этого один из пацанов успел выхватить бритву и полоснуть Косте по совсем новехонькой тогда еще куртке, что, впрочем, не помешало Эллину ухватить не слишком мощного противника за кисть руки и, бросив на тротуар, придавить к асфальту. В отделении у волжан нашли еще два выкидных ножа, а у люберчан ничего особенного не нашли, так что где-то через час их всех отпустили, посоветовав идти своей дорогой и врагов своих не дожидаться, потому что «сегодня их никто уж точно не отпустит»; а Поп (которому, несмотря на всю его накачанность, кто-то из поволжцев основательно расквасил нос), то ли проникся к Эллину уважением, то ли решил, что теперь, после совместного боя, травить Эллина ему запахло, но только у Эллина с тех пор никаких проблем с Попом не возникало. Так что в глубине души Эллин был даже благодарен гастролерам, но куртку пришлось ремонтировать, что тетка, надо отдать ей должное, сделала с блеском.

Куртка была чуть великовата в длину, потому что покупали ее на вырост, а Костя с тех пор так свой

рост и не увеличил, зато он сильно увеличился в ширину, так что по ширине куртка теперь была ему в самый раз; свитер же был связан так, что легко растягивался и любому человеку костинного роста приходился впору. Бросив свитер и куртку на диван, Эллин хотел было достать из шкафа еще защитного цвета штаны, в которых он ходил на Валдае и в Крыму, но раздумал, решив, что для города это будет уж слишком.

Затем Костя прикинул, когда теперь стоит идти к БД. Вчера и позавчера он мог идти туда только ночью или, в крайнем случае, вечером. Но теперь, когда он был свободен круглые сутки, вставал вопрос, а почему он, собственно говоря, должен караулить ночью, а отсыпаться днем, почему не наоборот? Поразмыслив, Костя пришел к выводу, что лучше будет прийти как раз днем. На ночь там и так защитников найдут, а вот кто там будет в рабочее время? Кто-то, конечно будет, но, во всяком случае, народу будет меньше. Собственно говоря, можно было бы рвануть туда прямо сейчас, однако Эллин решил все-таки подождать до завтра, а сегодня попытаться связаться с Маркеловым, а может быть, и с Сиротиным. Того, что штурм будет сегодня, Эллин не боялся. Ночные впечатления убеждали его в том, что еще пару дней БД никто не тронет.

До вечера Костя звонил эсдекам. Но у Сиротина никто не брал трубку. К Маркелову Костя дозвонился и узнал, что того нет дома, и будет он очень поздно. Костя хотел было на всякий случай оставить телефон, но подумал, что неизвестно, будет ли он ночью у тетки, и извинившись, повесил трубку.

\* \* \*

Стас Маркелов караулил у БД только в первую ночь. Убедившись, что скорого штурма не будет, и насмотревшись на антисемитские плакаты, он от роли защитника Белого дома отказался; однако это не означало, что он совсем вышел из игры. В то самое время, когда Эллин, отоспавшись, протирает глаза, Стас в «Партийном доме» СДПР набирал на компьютере «Предложения группы левых организаций». «Группу левых организаций», кроме Стаса, представляли еще трое: самый известный член ИРЕАНа Вадим Дамье — последователь Франкфуртской школы в области философии и ортодоксальный кропоткинец в остальном — невысокий, тощий, очкастый, с нерусским лицом и светлыми волосами до плеч, как две капли воды похожий на западноевропейского ультралевого террориста шестидесятых; неспящий после двух ночей у БД Трофименко и Сиротин, состоявший, кроме СДПР, еще и в Антифашистском центре.

Суть предложений была проста: в ближайшее время штурм, видимо, не будет, Ельцин делает ставку на «удушение временем», на измор, на постепенное расслабление и усталость защитников; следовательно, надо не ждать, а переходить к активным действиям — перекрывать дороги, устраивать митинги в центре Москвы, попытаться заблокировать Кремль; а заодно неплохо бы связаться с провинцией, где у ВС больше сторонников, чем в центре, и если что — перебираться туда и вести борьбу оттуда. Ленин и Мао Дзе-дун подобный текст бы одобрили. Увы, среди депутатов не было ни Ленина, ни Мао.

Распечатав текст в двух экземплярах, Стас стер его с компьютера, после чего начал связываться по телефону с БДшной администрацией. «Предложение» было отвезено Трофименко на Новый Арбат 21 и передано какой-то не то секретарше, не то помощнице кого-то из депутатов. Составители «предложения» так и не узнали, прочел ли его хоть кто-нибудь из ВСовцев или же оно сразу отправилось в корзину для бумаг.

\* \* \*

Комсомольцы шли по Арбату. Впрочем, шли не одни комсомольцы. Шел Трофиенко, шел Лозован, и еще человека три-четыре шло комсомольцев.

Президентский переворот застал ВЛКСМ не в лучшее время. Среди комсомольцев назревал раскол на сторонников протектората СКП-КПСС и тех, кому больше нравилась РКРП и КПРФ. Вождем последних стал Игорь Маляров, за которым тогда еще не закрепилась слава соглашателя и оппортуниста. Скорей, наоборот, он считался в комсомоле экстремистом и, в отличие от официального комсомольского вождя Езерского, пытавшегося сохранить в ВЛКСМ «брежневские порядки», он, Маляров, превращал свое крыло в молодежную «ТрудРоссию». Впрочем, для большинства комсомольцев эти тонкости были непонятны, и многие усмотрели в деятельности Малярова обыкновенный карьеризм и стремление самому выбиться в вожди (и в этом, как показало будущее, они оказались правы). Бывший спецназовец Скворцов, пользовавшийся большим авторитетом в московской организации комсомола, организовал отряды чистильщиков, выкидывавших особо ярких сторонников Малярова с комсомольских собраний. В ответ маляровцы создали свой Российский комсомол, и теперь в России стало два комсомола — Всесоюзный и Российский. Поскольку что-то похожее уже успело случиться на Украине и в Белоруси, езерцы занервничали и попытались помириться с маляровцами, но было уже поздно, тем более, что при дележе местных организаций маляровцам удалось захватить большую часть провинции.

Война между Ельциным и Руцким не примирила враждующие комсомолы, хотя и в том, и в другом были противники раскола. Колесо уже закрутилось, и остановить его было нельзя. Однако на защиту БД пришли члены обоих комсомолов. Как бы комсомольцы ни грызлись между собой, а тут их позиция была едина.

Арбатская анархо-комсомольская процессия была явлением спонтанным. Комсомольцам наскучило бесцельное пребывание у БД, и они решили проявить активность, пройдя с агитацией по ближайшим улицам, а чтоб процессия была больше, пригласили с собой оказавшихся рядом анархистов. Те согласились при условии, что в агитации не будет ничего неприемлимого для них, пообещав, в свою очередь, не говорить ничего крамольного с комсомольской точки зрения. В основном данное соглашение соблюдалась, только отчаянная комсомолка по имени Янка, дорываясь до мегафона, начинала вставлять какую-нибудь чушь о «защите законного правительства». Тогда анархисты плевались и отходили в сторону, ожидая, пока Янка устанет и передаст мегафон кому-нибудь другому, потому что наезжать на четырнадцатилетнего Гавроша в юбке было неудобно.

Большая часть народа относилась к агитаторам скорее сочувственно. Злобу они вызывали только у тех, символом кого где-то год спустя стали красные пиджаки (недолго продержавшиеся, но успевшие произвести большое впечатление). В девяносто третьем и выражение «новый русский» еще только входило в оборот, и красные пиджаки еще не успели появиться. Но и тогда нуворишей можно было опознать с первого взгляда — они носили кожаные куртки и какого-то особого покроя штаны, от которых их фигуры приобретали веретенообразную форму — пузо и задница у них казались самым широким местом. Впрочем, как знать, может, не казались, а были?

Буржуи отпускали по адресу агитаторов враждебные реплики, но дальше этого не шли. Впрочем, и сочувствующие не шли дальше сочувствия. Агитгруппа двигалась по Арбату, как акула в морской глубине, когда вокруг акульего тела волнуется и баламутится подводный мир, успокаивающийся вскоре за ее хвостом. Арбат баламутился вокруг агитаторов и успокаивался за их спинами.

\* \* \*

Вечером Костя все-таки появился у БД. Он подошел как раз в тот момент, когда по звукоусилителю какой-то хмырь объявлял митингующим, что Союз офицеров захватил штаб объединенных вооруженных сил СНГ и половине защитников надлежит срочно ехать офицерам на подмогу. Народ однако энтузиазма не проявил, по толпе прошел ропот: «Это провокация!» Хмыря активно поддержал Анпилов, зато с другого звукоусилителя Макашев и какие-то депутаты тоже начали твердить про провокацию. Несведущему человеку разобраться во всей этой каше было непросто, но Эллин, по крайней мере, понял, что откликнуться на призыв хмыря и Анпилова никто большим желанием не горит. Костя поинтересовался у одного из защитников, кто там первый объявил о захвате штаба (он, дескать, не расслышал голос), и узнал, что хмыря зовут Гунько. Эта фамилия Эллину ровным счетом ничего не говорила.

Поболтавшись перед БД с полчаса и поискав на всякий случай Стаса или кого еще, Эллин решил новых своих планов не менять и напрямик поехал к Тамаре, которой, хоть и было глубоко наплевать и на защитников Белого дома, и на их противников, но зато совсем не наплевать было на Костю, несмотря на то, что он, по ее мнению, занимался ерундой, а, может быть, и благодаря этому, ибо Костя был первым из тамариных кавалеров, которому нужно было что-то еще, кроме водки, жратвы и толстой тамариной задницы, при том, что попадались среди ее ухажеров весьма могучие и отважные (к примеру, один геолог из-за Тамары не побоялся начать драку сразу с тремя мужиками и через полминуты завершил ее полной своей победой). Эллин, после того как он прошлой ночью оставил Тамару одну и утром исчез с работы, не предупредив, куда он делся, в принципе, был готов к небольшой ссоре, но Тамара на него даже не дулась. Ксения на ее месте отреагировала бы однозначно — по крайней мере, дня три не пускала бы Костю на порог. Ксения, правда, закатила бы Косте скандал уже за одно намерение идти к Белому дому и вовсе не потому, что так ненавидела «красно-коричневых», а просто дело было больно рискованным. Вот если бы было ясно, что защитники БД победят, да еще, что им за это будет какая выгода, тогда бы она сама погнала Костю на баррикады.

\* \* \*

Ближе к ночи по телевизору передали о штурме СНГ-шного штаба, возложив всю ответственность за случившееся на Терехова. Показали по телевизору и двух пойманных «боевиков Терехова». Увидев их, Трофименко, смотревший телевизор, чуть не свалился со стула — с экрана на него смотрел Сережа Беляев, сидевший в свое время в Доме на Таганке и оставивший там по себе весьма специфическую память.

Беляев, участвовавший во всех мероприятиях «ТрудРоссии», в которых ему представлялась возможность, был достаточно известен в левых кругах Москвы, но известен в основном как клиническая шиза. Такого сорта люди столь часто встречались среди и «красной», и «трехцветной» массовки, что среди неформалов возникли даже термины «комшиза» и «демшиза»; при этом отличить комшизу от демшизы можно было только по флагу или плакату, который был у одной шизы в руках, да и то не всегда.

Всем, кто достаточно общался с Беляевым, и имел хоть мало-мальское представление о Терехове, было понятно, что, если Терехов не знал, кто такой Беляев, то никогда бы не послал его на подобное дело, а если знал — тем более; но большинство телезрителей никогда, естественно, с Беляевым не общались.

«Отпустите меня! — сказал Беляев с экрана. — Я больше никогда не буду заниматься коммунизмом!»

\* \* \*

К двадцать четвертому в левых кругах стало широко известно о предложении Ярослава Леонтьева. Взгляды Леонтьева отличались большой оригинальностью. Он называл себя анархо-народником, ухитрялся сочетать толстовские взгляды с симпатией к террористам, а патриотизм с интернационализмом и твердо верил, что можно любить свой народ и не иметь при этом ничего против других народов. Может быть, он был единственным в Москве человеком подобного рода. Соответственно, оригинальным было и его предложение — создать нечто вроде санитарного отряда и, не ввязываясь в драку, оказывать помощь всем пострадавшим независимо от их убеждений.

В принципе, ничего сверхнового в такой идее не было — в истории уже были подобные прецеденты, и Дамье, одним из первых услышавший о леонтьевской позиции, сразу окрестил ее «позицией Иванова-Разумника». Оригинальность ее была в том, что никому другому из левых она просто не пришла в голову. Более того, никто из тех, с кем Леонтьев поделился своими соображениями (равно как и те, кто услышал о них от кого-то еще), его не поддержал. Кто-то не верил в возможность левых создать своими силами даже подобный отряд, кто-то не желал рисковать ради ментов и «красно-коричневых», а кто-то, как, к примеру, Трофименко, считал такую позицию слишком пассивной. Леонтьев остался в одиночестве.

\* \* \*

Элин проошивался у БД не меньше пяти часов и так и не решил, что ему делать. Увиденное и услышанное оставляло у него смешанное чувство — с одной стороны, чувствовалось, что события постепенно назревают крутые, с другой — плакаты и лозунги участников этих событий отбивали охоту вставать в их ряды. Конечно, Костя смутно представлял, какие лозунги его бы устроили, но то, что призыв: «Бей жидов, спасай Россию!» — не для него, он точно знал.

Трудно сказать, чем кончилось бы костино блуждание, если бы, попытавшись свести знакомство с кем-нибудь из защитников БД, он, в конце концов, не заговорил бы с неким трудороссом по имени Сергей Шишигин, которого большинство знакомых звало просто Шишигой.

Шишига был невысок — почти одного с Костей роста, но уж очень ладно скроен. Одет он был в черную когда-то, видимо, шикарную, но теперь уже потертую и даже слегка порванную кожанку на молнии, из под которой выглядывала ярко-красная рубашка, и в темно-синие джинсы, обут в черные стоптанные полуботинки, на голове у него была старая черная кожаная кепка, которую он время от времени снимал и хлопал о колено, словно отряхивая; безо всякой, впрочем, нужды, видимо, просто такая у него была привычка. Весь этот гардероб, несмотря на свою поношенность, был довольно опрятен и не выглядел уродливо, напротив — он необыкновенно шел и к шишигиной ладной фигуре, и к его лицу. Лицо у Шишиги было того славянского типа — с четкими точеными чертами, который обычно встречается там, где почти нет примеси ни татарской, ни финской крови — в Тульской, Курской, Орловской, Смоленской областях. Какое-то лихое и вместе с тем чуть насмешливое выражение придавало этому лицу слегка хулиганский оттенок. В сталинских фильмах артисты с такой внешностью обычно играли героев отрицательных, но симпатичных, в конце фильма, как правило, встающих на путь исправления под чутким руководством милиции, армейских товарищей или трудового коллектива. Общее впечатление, создаваемое такой внешностью, еще более усиливалось, от того, что вместо двух верхних передних зубов во рту у Шишиги поблескивали две нержавеющей железки. Шишига носил усы, а издали могло показаться, что и бороду, на самом деле он был просто небрит. Волосы у него были темные, волнистые и довольно густые, но надо лбом в них врезались две

большие залысины, левую пересекал белый шрам.

В общении Шишига оказался парнем открытым и к знакомству располагающим. Через пять минут Костя уже знал, что Шишиге двадцать семь лет; что он три года как разведен и платит алименты жене с дочкой, которая в этом году пошла в школу; что он — шофер второго класса, но из-за своего независимого характера вечно не ладит с начальством и потому год назад угодил под сокращение и сейчас перебивается на какой-то базе автослесарем, и много чего еще. В свою очередь, и Шишига уже знал о Косте, и что тот родом из Люберец, но живет у тетки в Москве, и что полтора года назад бросил институт и работает на фабрике грузчиком, и даже про то, что Костя недавно разошелся со своей девятнадцатилетней подругой и взамен нашел себе сорокалетнюю — и об этом Эллин ему рассказал, хотя и не вдаваясь в подробности. Рассказал Эллин и о том, почему он до сих пор никуда не записался, точнее, только начал рассказывать, а дальше Шишига сам все понял, посмотрев на античный профиль собеседника.

Сам Шишига антисимитизмом не страдал, по крайней мере, в такой степени, как большинство защитников Белого дома. Может быть, потому, что за свою короткую, но беспокойную жизнь он видел много разных людей и мог заметить, что тот факт, плох человек или хорош, меньше всего зависит от наличия у последнего еврейской крови. А может, потому что в отличие от многих трудороссов умел шевелить мозгами — он даже не был классическим сталинистом, мечтающим просто вернуть страну в пятидесятый или хотя бы восьмидесятый год; и хотя его понимание рабочей власти не шло дальше «планового хозяйства» и выборов в советы не по территориальному, а по производственному признаку («Своего-то Ваську я знаю как облупленного и собрание, чтоб его отозвать, всегда соберу, а в районе попробуй это сделать!»), а дальше представление было весьма туманным, однако далеко не всякий анпиловец мог бы похвастаться даже такой продвинутостью.

Как бы то ни было, но к костиному положению Шишига отнесся с пониманием. Высказав, что сам думает по поводу разных идиотов, он предложил Эллину прибиваться к трудороссовской дружине, к его Шишигиному отряду, пообещав, что в этом случае ни одна собака не спросит Костю о национальности, а если спросит, то будет иметь дело с ним, Шишигой. Однако в данный момент Шишиге нужно было сваливать (двадцать четвертого он работал в вечернюю смену), причем сваливать срочно — он и так уже опаздывал, заболтавшись с Эллиным. Почесав репу, Шишига предложил Косте прийти сюда на следующий день, часам к десяти вечера, когда он, Шишига, снова появится у БД, тогда он, мол, и познакомит Костю с ребятами. На том и порешили, забив стрелку на десять.

Вечер Костя провел с Тамарой у телевизора, слушая очередную порцию чуши про защитников БД.

— Эк вас кроют! — усмехалась Погудина. — Прямо вы — злодеи какие-то! А Ельцин — так просто герой, что страну от вас защищает!

— Козлы! — злился Эллин. — Тоже мне, «свободная пресса...», «свободное телевиденье...» — только и умеют, что Ельцину задницу лизать. Слушай, если это дерьмо победит, неужели так все и в истории напишут, как эти козлы говорят?

— Напишут... — отвечала Тамара. — История, она все переварит. Ну ее в баню, эту историю, пойдём лучше е...ться! Я знаешь как по тебе за день соскучилась!

\* \* \*

Третью ночь осады Трофименко пропустил. Рано утром он поехал на участок (который в самом деле

находился у чорта на рогах — аж в сорока километрах на северо-запад от Можайска) и в ночь перед дорогой отсыпался, благо, было ясно, что штурма, скорей всего, не будет. Выкопав половину оставшейся картошки, Трофименко вернулся в Москву поздно вечером, однако ж к ночи успел-таки добраться до БД. Как и в прошлые разы, он прошел за баррикады безо всяких неприятностей. Но теперь лагерь защитников стал менее гостеприимен.

Защитники уже не составляли единого целого даже в той мере, в которой это было в первые две ночи. Они теперь сидели отдельными кучками у костров, и каждый старался держаться своей кучки. Никто больше не призывал гнать «праздношатающихся», зато чай, бутерброды и прочий паек теперь выдавали только на «подразделения».

Трофименко почувствовал себя не слишком уютно. Однако пытаться куда-нибудь записаться он не стал. Во-первых, такого интенсивного набора, как в две первые ночи больше не было. Никто теперь не набирал «сотен» и «рот», никто не просил себя записать. Волна схлынула, и теперь любой «новобранец» автоматически должен был бы обратить на себя внимание, а этого анархисту Трофименко не хотелось, так же как не хотелось ему объяснять, почему он не записался до сих пор. Правда, одиночка тоже мог привлечь внимание, но на этот случай можно было представиться работником ИСПИ или корреспондентом ЛИЦа — корреспондентам торчать на баррикадах в одиночку не возбраняется. Во-вторых, ему совсем не улыбалось затеряться в стройных рядах защитников БД, по той простой причине, что их взглядов он не разделял и грудью защищать Верховный совет не собирался. Да и вообще все собравшиеся здесь были либо временными и малонадежными союзниками, либо откровенными врагами, за редкими, может быть, исключениями, которые еще надо было найти. Одно дело влиться в эту армию в компании хотя бы с Бийцем и Голицыным, а другое — одному. В итоге, Трофименко решил раньше времени не дергаться, подождать, не будет ли чего путного.

Путного ничего не было. Даже баррикады почти не строились. Трофименко сидел, поживаясь у какого-то костра, а с неба сыпалась все та же мелкая мокрая дрянь, что и раньше. Сине-красно-желтое пламя костра напоминало своим цветом флаги трудороссов, а черная земля, серое небо и желтые окна Белого дома — имперский штандарт патриотов, только очень грязный или вылинявший. Где-то у стен БД какой-то защитник препирался с раздатчиками пайка, отказывающимися кормить одиночку.

Часа в три Трофименко заметил, что от костра к костру ходит какая-то толпа, останавливающаяся у каждого костра минут на десять-пятнадцать. Пройдя таким манером костра четыре, она наконец оказалась у того самого, возле которого сидел Трофименко. Это была агитбригада, исполнявшая перед защитниками песни — в основном официальные совкового периода. Гвоздем программы была песня, написанная мужиком из агитбригады на основе «Смело мы в бой пойдем...» Текст ее был долгим и нудным, рифмы оставляли желать лучшего, а припевом служили слова: «Смело мы в бой пойдем за власть советов и разобьем дерьмо, не сомневайтесь в этом!» Трофименко — сам поэт, обладавший идеальным чувством рифмы, испытывал те же самые мучения, что испытывает человек с абсолютным слухом музыкальным, когда при нем то и дело пускают петуха. По счастью, хоть музыкальный слух у Трофименко был далеко не абсолютный, а то бы, пожалуй, он страдал вдвойне. Закончив свой шедевр, агитбригадовцы поблагодарили слушателей за внимание и удалились к следующему костру.

Вскоре после этого Трофименко решил малость прогуляться по лагерю и, как оказалось, не зря. На углу между асфальтовой дорожкой, ведущей к Горбатову мосту, и продолжением Дружинниковской

улицы он наткнулся на Аркашу и у того выяснил наконец, почему не появляется Биец, которому Трофименко, кстати, не далее, как днем очередной раз звонил, но так и не дозвонился. Аркаша посоветовал Трофименко куда-нибудь записаться, но анарх только усмехнулся в бороду и, побродив по лагерю еще с полчаса, вернулся к костру.

В пятом часу утра к костру подошел Анпилов. Его сразу обступили как-то по-особенному, так, что у Трофименко сразу возникла в мозгу картина: учебник истории и в учебнике на всю страницу иллюстрация — Ленин, окруженный толпой рабочих. И подпись: художник такой-то, «Ленин беседует с рабочими N-ского завода». Может, и вправду была в каком из учебников такая картинка, а может, и не было ее никогда, а были тысячи других, которые дали подобный синтез, но только сходство было разительное. Трофименко даже подумал, что неплохо было бы кино снять «Анпилов в ноябре». Классика была бы. Только опять бы в ней анархистов обгадили.

Вождь беседовал с народом. Трофименко прислушался к разговору. Какой-то трудоросс плакался, что вот, мол, бяка-Руцкой пообещал всем защитникам Белого дома земельные участки под Москвой, зачем он гад это сделал, разве мы за этим сюда пришли? Трофименко наострил уши: ну ка, что ответит вождь? Вождь ответил в том духе, что Руцкой, конечно, неправ, но мы-то сами понимаем, что сражаемся не за землю какую-нибудь — это все мелкобуржуазно — а за советскую власть; ну да ладно, что с него взять с Руцкого, но мы-то сами понимаем, что земля нам не нужна, нам социализм нужен... «Сволочь сталинистская! — подумал Трофименко. — Социализм — это когда тебе картошку в магазин привозят, а сажать ее мужик должен? А ведь мог бы хоть для приличия Декрет о земле вспомнить». Потом Анпилова угощали печеной картошкой с солью, и кто-то уговаривал его: «Виктор Иваныч! Не ешь соль! Это тебе вредно», а Виктор Иваныч объяснял, что ничего не может поделать — ему так нравится. Трофименко слушал этот дурацкий диалог и думал о том, когда он докопает свою оставшуюся картошку.

\* \* \*

Утром двадцать пятого Костенко со вторым экземпляром «Предложения группы левых организаций» доехал на метро до станции «Отрадное», а оттуда покотил на троллейбусе вглубь района, туда, где в одном из переулков в ободранном двухэтажном доме стоял полуразвалившийся ксерокс, купленный ИРЕАНОм на деньги испанских анархо-синдикалистов. Точнее говоря, испанцы подарили ИРЕАНу факс, но факс иреановцы продали, а на вырученные деньги купили ту самую развалюху, на которой Костенко теперь собирался ксерить «Предложение». Отксерить удалось меньше сотни экземпляров, потому что уже на сорок восьмом ксер начал основательно барахлить, а на восемьдесят девятом — окончательно испустил дух. Костенко однако удалился с чувством глубокого удовлетворения — ксер давно уже был ни к черту, а никакая коммерческая типография печатать «Предложение» ни за что бы не взялась, так что даже столь мизерный тираж можно было считать успехом.

\* \* \*

Двадцать пятого Ельцин, наконец, исполнил свою угрозу и отключил Белому дому свет и воду. ДемСМИ радостно объявили об этом жителям Москвы. О том, как отреагировали на это регионы, никем не сообщалось. Впрочем, газ пока поступал, и можно было надеяться, что невзоровскую угрозу регионалы пока не исполнят.

\* \* \*

Тамара, услышав про отключение, сочла, что «теперь это надолго», или, во всяком случае,

попыталась убедить в этом Костю. «Если б их сразу брать хотели, — сказала она, — им бы свет, может, и отключили, чтоб ночью темно было; но раз им еще и воду отключают, чтоб ни попить, ни г...но смыть, значит измором хотят взять.» Эллин возразил, что измор — измором, однако ж, если раньше не отключали, а теперь отключили, значит, либо силу почувствовали, либо заторопились. А раз заторопились, значит, если Белый дом и дальше держаться будет, то тогда Ельцин либо сдастся, либо устроит штурм, последнее вероятнее. Тамара пожала плечами. Ей было все равно. Она не ждала ничего хорошего ни от какого варианта.

\* \* \*

Появившись вечером у БД, Трофименко неожиданно для себя напоролся на Бийца. Троцкистский вождь о чем-то беседовал с комсомольцами. Рядом стоял Миша Голицын.

— Привет, — сказал Трофименко.

— Привет, — отвечал Биец.

— Говорят, тебя баркаши выгнали, — поинтересовался Трофименко.

— Да, баркаши эти совсем обнаглели... — уклонился от ответа Биец. — Да ну их!..

— А еще из наших тут кто-нибудь есть? — попытался выяснить Трофименко.

Биец пожал плечами.

— Тут где-то еще Володька Трофименко должен быть, — вставил Миша Голицын.

— Так это ж я и есть! — удивился Трофименко.

— Да, действительно, — присмотрелся Миша. — А я тебя и не узнал!

Трофименко действительно мудрено было узнать. За последние четыре дня он осунулся; резче стало выдаваться надгубье, делая лицо анархиста похожим на львиную морду, как у старого еврея; и, хотя черты лица изменились не слишком сильно, но сильно изменился сам образ. Так иногда изменяют образ актера, нанеся ему на лицо совсем немного грима.

\* \* \*

Часам к девяти Эллин стал собираться к Белому дому. Тамара сделала последнюю попытку отговорить его:

— Может, плюнешь на это, а? Ну, отстоите вы Белый дом, ну дальше что? Ты думаешь, лучше будет? Все, что меняется, всегда только к худшему, никогда так не бывает, чтобы лучше стало, всегда только хуже делается!

— Всегда не может быть, — возразил Костя, натягивая выдавшую виды куртку. — Иначе б, в конце концов, так плохо стало, что люди б просто передохли.

— Люди — живучие, — заметила Тамара. — Они ко всему привыкают. И когда привыкнут, им становится лучше. А потом опять что-нибудь меняется, и опять делается хуже. Как мне иногда мужик попадется — только под него подстроишься лежа, он тебя раком ставит, подстроишься раком — сверху сажает, опять подстроишься — он опять вниз переворачивает, — Тамара хихикнула. — Это

называется «переворот». А на деле — все одно — е..ут.

— Может, оно и так, — согласился Костя. — Только я не хочу, чтобы меня всякая сволочь трахала.

— Я тоже не хотела, — усмехнулась Тамара, — чтобы меня муж е...ал. А он завел меня в сарай и вы..б. И замуж за него не хотела, а он, гад спустил, и я залетела.

— А ты не пробовала ему конец оторвать? — поинтересовался Костя.

Тамара вдруг рассмеялась так, что чуть не свалилась с дивана.

— Один раз было, честное слово! Я хотела ему пососать, а он, сволочь, и говорит: «Кто это тебя — б...дь такую таким вещам научил?» Я разозлилась, да как цапну! Чуть не откусила! Он потом со мной два дня не говорил.

— Ну так вот я, — заявил Костя, — тоже хочу им всем концы поотгрызать. Вместе с яйцами.

Тамара грустно вздохнула.

— Ну отгрызете вы Ельцину — Руцкой придет. Помнишь, как в прошлый раз было? ГКЧП яйца оторвали, а Ельцин теперь е...т.

— Надо будет, — ответил Костя, — я и Руцкому оборву.

Тамара посмотрела на него укоризненно.

— Много там таких, как ты? Или ты один обрывать собрался?

Костя помолчал. Потом сказал:

— Не знаю. Но только, даже если один — кто-то же должен быть первым.

\* \* \*

Говорят, что самая длинная ночь в году — это ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое декабря, но это — не так. Любой нормальный бюрократ скажет, что самая длинная ночь бывает осенью, когда переводят время с летнего на зимнее. От этих переводов туда и обратно люди, как говорят медики, чаще болеют, зато, как говорит начальство, лучше работают или, во всяком случае, имеют больше возможностей для работы. Сначала это улучшение работы было опробовано на Западе, а затем перекочевало и в Союз. Сперва в Союзе, а потом и в России что зимнее, что летнее время длилось по полгода — стрелки переводились в конце марта и в конце сентября. Потом, с девяносто шестого стрелки стали переводить в конце ноября, украв таким манером у зимнего времени два месяца. Но в девяносто третьем переход на зиму происходил в сентябре. В ночь на последнее воскресенье сентября. Двадцать шестое сентября было последним воскресеньем месяца.

\* \* \*

Трофименко в эту ночь записался-таки в отделение. На первый взгляд, это было совсем нелогично. Три свои предыдущие ночи у БД он хотел записаться и не записался. А в этот раз, послушав разговор каких-то трудороссов, он узнал, что трудороссам оружия так и не выдали, хотя выдали его казакам и баркашам. После этого Трофименко сразу расхотелось куда-либо записываться. Уходить было уже поздновато, но при желании все равно можно было и уйти, а можно было просидеть тут в качестве

корреспондента ЛИЦа, что Трофименко решил и сделать. И еще он решил, что, пока ситуация не изменится, больше он сюда не придет, во всяком случае, на всю ночь да и на весь день тоже. И уж, конечно, незачем ему куда записываться. И все-таки записался.

А вышло все так. Мимо Трофименко пробежал какой-то дедок, зовущий всех записываться в отделение. Трофименко наострил уши. Сразу появилась надежда, что раз никто не спрашивает, кто и откуда взялся, а записывают всех, то может все-таки удастся или дорваться до автомата, или хотя бы как следует пообщаться с людьми. Он подбежал к дедку, но тот уже успел записать какого-то мужика лет тридцати пяти и, назначив неофита командиром отделения, передал тому свои функции по записи. Трофименко попросил мужика записать его к себе, но мужик оказался страшно туп и начал кивать на дедка. Трофименко догнал дедка — тот кивал на мужика.

В конце концов, Трофименко плюнул и пошел к панковскому костру. Панки на этот раз были другие и без знамени, а, кроме того, это было привычное место, где относительно легко было затеряться. Здесь же Трофименко увидел Риту, что его несколько обрадовало. И надо же такому случиться, минут через двадцать здесь появились мужик и дедок, начавший выяснять у мужика, как успехи с отделением. Узнав, что мужик так никого не и записал, дедок удивился и лично занес в отделение Трофименко, а заодно и всех панков, сидевших у костра. После чего поставил отделению задачу: если солдаты перейдут баррикаду, пропустить их, а потом, когда женщины выйдут к ним навстречу и начнут уговаривать вернуться, нападать сзади и отнимать оружие.

Все это полагалось делать голыми руками. Зато дедок предупредил, что в случае чего надо держаться подальше от окон — там сидят ребята с автоматами, и если солдаты подойдут к зданию, «они получат огонюку»; естественно, своим лучше под этот «огонек» не попадать. Трофименко представил себе, как автоматные пули со смещенным центром начнут рикошетить по всей лужайке, и покачал головой. Ситуация получалась дурацкая. В довершение ко всему, дедок повторил, что командиром отделения будет тот самый мужик, которого он вписал первым. Впрочем, других кандидатур у него все равно не было. Единственным обнадеживающим событием для Трофименко стало то, что в отделение записался неведомо откуда взявшийся темноволосый парень, которого Трофименко видел здесь во вторую ночь.

Парня, как выяснилось, звали Костя Элин. Трофименко это слегка удивило — он ожидал, скорее, услышать фамилию вроде Петросян или Папандопуло. Трофименко интересовался антропологией, и хотя само по себе происхождение парня было ему до фени, собственная ошибка его огорчала. Однако, поразмыслив, он решил, что парень — скорей всего, еврей по отцу и армянин по матери, как, к примеру, Георгий Израилевич Годер, учивший Трофименко истории в пятом-шестом классах.

У Годера Трофименко был первым учеником. Это был редкий случай, чтобы Трофименко был у кого-то первым учеником и считал почти позором получить «четыре», да еще и сам учитель в таких случаях говорил бы: «Трофименко, ты — хороший парень, но сегодня я тебе ставлю четверку». Кроме истории такое было еще только с биологией в восьмом, девятом и десятом классе. К тому времени историю, а заодно и обществоведение вела уже другая училка — типичная совковая историчка (Годер не любил врать и поэтому не лез дальше средних веков), и Трофименко, охладев к истории, увлекся биологией; как раньше он еще в начале учебного года прочитывал от корки до корки учебник истории, так теперь прочитывал учебник биологии. Историю он, впрочем, тоже прочитывал, но на уроках особую активность не проявлял, только изредка поправлял историчку, если та делала какой-то уж больно сильный ляп, и урок обычно не учил — если спрашивали, отвечал по памяти. Так что историчка на него злилась, а заступалась за него теперь училка биологии Татьяна Михайловна

Марченко. Когда однажды мать Трофименко в очередной раз вызвали в школу, чтобы сказать ей, что сыну ее не место в девятом классе, Марченко первой выследила трофименковскую мать и, не дав ей опомниться, сама заявила: «Я не знаю, как он учится у других, у меня он учится прекрасно». То-то «радости» было другим учителям, когда, в ответ на все их вопли мать Трофименко сослалась на Марченко.

Марченко могла себе такое позволить. Плевать ей было на то, что скажут другие учителя, конфликта с ними она не боялась — не такое видала. В Великую Отечественную Марченко, едва успевшая закончить школу, оказалась в партизанском отряде, притом, что жила она не где-нибудь, а на Херсонщине — там партизанам приходилось особенно туго, потому как никаких лесов на Херсонщине не было, и прятаться там можно было только в днепровских плавнях. Из всех одноклассников Марченко (не из одноклассниц, а из одноклассников) в живых осталось двое, остальные были перебиты в первом же своем бою, в котором им всем пришлось участвовать через неделю после выпускного вечера. Обо всем, что Марченко пережила за свою жизнь, можно было написать отдельную книгу; что ей были какие-то карьеристы, не сумевшие найти подход к неглупому парню и теперь пытающиеся выгнать его из школы, чтобы не портить показатели?

Вообще же, Трофименко с учителями не ладил и от школьного процесса обучения никакого удовольствия не получал, относился к нему, как к тяжелой повинности. Поэтому пятерки у него чередовались с двойками, а по оценкам в четверти он обычно перебивался с тройки на четверку. Особенно тяжело ему давался русский язык, вернее правописание. Трофименко, выросший в Москве, никак не мог понять, почему «подглядывать» пишется через «ы», а «попробовать» — через «о», хотя произносится и то, и другое одинаково. В итоге, несмотря на свои явные литературные способности, Трофименко потому только получал за год по русскому тройку, что двое в году, да и в четверти в брежневское время старались не ставить. Его родители, выросшие на юго-восточной Украине (хорошо, что об этом никто из учителей не знал, а то, пожалуй, заявили бы, что Марченко защищает земляков) и привыкшие к тамошнему произношению, не понимали, как это их сын не слышит, что слово «корова» надо писать через «о». Да и вообще, они были уверены, что сын должен быть отличником, коль скоро сами они учились на пятерки и окончили ни много, ни мало МГУ. Один раз они даже уломали Вовку, чтобы тот поступил в специализированную физ-мат школу, но только через год Трофименко оттуда свалил. Вроде и учиться там он мог, и решал такие задачи, которые даже там большинству были не по зубам, да только одновременно мог хватать двойки по обычному курсу, и не имел он никакой охоты в спецшколе оставаться. Не было у него того качества, которое с возрастом превращается в карьеризм, и мнение разгильдяев-одноклассников (не в физ-мат школе, а в родной двадцатой) было для него важнее, чем мнение учителей и родителей. Может быть, потому, что когда Трофименко получал фингал под глазом или лишался зуба, одноклассники сочувствовали, а родители ругали и за то, что подрался, и за то, что получил, а не сам навесил. Больше всего при этом возмущало Вовку то, что родители-то его сами были не чемпионы по боксу, так молчали бы себе, а не возмущались, что он не первый силач в классе, тем более, что те, кто был его слабее, естественно, к нему и не лезли, во всяком случае, в одиночку, а сам он обычно не задибался. А потом, если он и давал сдачи (парень он все-таки был неслабый, просто миролюбивый), то фингал-то все равно никуда не девался. Правда, многие вовкины одноклассники были куда слабее, а фингалов получали меньше, потому что лучше чувствовали, где надо куснуть, а где — хвостом вильнуть. Трофименко хвостом не вилял и если уж подчинялся чужой силе, то всем было видно, с какой неохотой он это делал.

Будь у Трофименко чуть больше безжалостности, презрения к людям, связался бы он со шпаной и вышло бы из него что-то вроде Эдички Лимонова. Но только Трофименко с детства слишком остро

чувствовал любую несправедливость, чтобы начать воровать или отбирать у мальчишек гривенники. Один раз он, правда, пошел на воровство, но это был отдельный случай, после которого Трофименко понял, что больше он этого делать не будет. По моральным соображениям. Ну а сверх того, то ли потому, что в детстве ему не повезло с друзьями и лучший его друг оказался предателем, то ли почему еще, но только Трофименко никогда не хотелось быть выше всех, ему гораздо больше пришлось бы по душе наличие надежной компании, достаточно большого количества верных товарищей. При этом Трофименко, вроде бы, и не прочь был бы стать лидером такой компании, но, с другой стороны, его бы вполне устроило и полное отсутствие лидера. Не обязательно было для Трофименко быть первым, важнее было не быть вторым.

За свои тридцать два года, Трофименко повидал не одних только хороших людей, много попадалось ему и сволочей, но элитаристом, презирающим всех, кроме себя, он так и не стал. Наоборот, чем дальше, тем больше Трофименко приходил к убеждению, что, хотя большинство и в самом деле ведет себя не лучшим образом, но сволочью никто не рождается, и только меньшая часть людей испорчена настолько, что могила их исправит, большая же — способна прозреть. Наверное, это убеждение и заставляло его снова и снова появляться у БД, среди защитников которого были не только сукины сыны, но и вполне нормальные люди, просто запутавшиеся в этой жизни и не сумевшие найти другого выхода, кроме как встать на защиту одних козлов против других.

\* \* \*

Эллин прождал Шишигу до одиннадцати часов. В принципе, Костя уже к половине одиннадцатого почти потерял надежду, но выхода у него не было, и он простоял еще полчаса, однако Шишига так и не появился. Он появился в полдвенадцатого, но Костя об этом уже не знал.

Не знал он и о том, что Шишига опоздал из-за совершенно идиотского случая. Совсем недалеко от шишигиного дома к защитнику БД пристал какой-то пьяный дурень из тех, что ищут приключений на свою задницу. В другое время Шишига сразу дал бы дурню по морде, однако сейчас не время было влипнуть ни в какую историю, и Шишига попытался отвязаться мирно. Но дурень как назло ничего не понимал, шишигино миролюбие он принял за проявление слабости, решив, что Шишига его боится, и, схватив Шишигу за грудки, попытался разбить трудороссу нос.

Тут уж Шишига не выдержал и засветил агрессору пару раз по челюсти. Тот сразу утратил какую бы то ни было боеспособность (ни боксом, ни какими другими боевыми искусствами Шишига никогда не занимался, однако в уличных драках еще в школьные годы хорошо насобачился), но тут появились стражи порядка; и хотя дело не стоило выеденного яйца (от пострадавшего за версту разило перцовкой), но по закону подлости Шишиге пришлось два часа проторчать в ментовке, после чего он, ругаясь, поехал наконец к БД.

Костю он там уже не застал. Когда Шишига добрался до лагеря, Эллин уже сидел у панковского костра. Решив, что Шишигу ждать бесполезно, он прошелся среди костров, раздумывая, как быть дальше, оставаться или нет, и тут заметил на старом месте двух знакомых по лагерю — Риту и мужика-анархиста в телаге. Рядом какой-то бойкий старикашка записывал панков в отделение. Эллин перекинулся парой слов с мужиком в телаге и, узнав, что тот уже успел записаться в оное отделение, записался туда и сам.

\* \* \*

Никчемность командира становилась все очевиднее. Мало того, что он позволил вписать к себе в

отделение панков, он еще попытался навести среди них дисциплину. Панки, естественно, только стебались в ответ, не испытывая к командиру никакого уважения.

Где-то в полвторого — в два к костру принесли паек — куски белого хлеба с плавленым сыром. Командир воспользовался этим для поднятия своего авторитета — паек отдал ему, и он заявил, что раздаст его только после переклички.

Перекличка оставляла желать лучшего. Только Трофименко откликнулся на свою фамилию с первого раза. Костя Элин, правда, просто завис и не сразу среагировал, зато панки откровенно дурачились. В конце концов, желание получить паек возымело действие, и панки для вида присмирели и даже позволили провести повторную перекличку на которой почти все откликнулись с первого раза, ну, в крайнем случае, со второго. Однако, словав бутерброды, они снова расслабились и перестали обращать на командира какое-либо внимание, вспоминая о нем только для того, чтобы выразить недовольство по поводу скудности пайка. Трофименко, поглядывая на огонь костра, пытался прикинуть, чем все это кончится. Кончилось это так, как всегда кончаются подобные ситуации — командир просто удрал, оставив старшим Трофименко.

Нельзя сказать, чтобы Трофименко обрадовался случившемуся, хотя он давно уже предчувствовал, что так оно и будет. Его не прельщала роль ефрейтора, а от панков, памятуя вторую ночь, он не ждал ничего хорошего. Из всех собравшихся у костра его интересовали только неписанная в отделение Рита и Костя Элин. Но Рита вскоре куда-то исчезла, а Костя, похоже, был погружен в какие-то свои мысли.

\* \* \*

Услышав при перекличке фамилию «Трофименко», на которую откликнулся мужик в телаге, Костя решил, что у него начались глюки. Он так поразился, что, когда очередь дошла до его фамилии, отреагировал на нее только со второго раза. Но когда убегающий командир объявил: «Старшим остается Трофименко», Элин понял, что все правильно, никаких глюков, фамилия мужика действительно Трофименко и никакая другая.

Трофименко — это не Иванов, Петров и даже не Александров, хотя, конечно, и не Черезногуспотыкаев — есть на Руси немало Трофимовых, а значит должны попадаться и Трофимовичи, и Трофименко, и даже, может, какие-нибудь Трофимчуки, но все-таки случайное совпадение было маловероятным. Элин уже хотел было поинтересоваться у мужика насчет Ксении, но неожиданно раздумал. В последние два-три дня он стал гораздо реже вспоминать про Ксению — все-таки эта заваруха отвлекала, но при всем при том воспоминания не стали менее тяжелыми. Так что Костя решил душу не травить и лишний раз на эту тему не заговаривать, особенно, если это, в самом деле, чего доброго, Ксеньин родственник.

Элин однако не смог удержаться от того, чтобы оценить, есть ли у мужика какое сходство с Ксенией. Но единственное, что у них с Ксенией было общее, так это большие карие глаза, а еще пушкинский Троекуров в свое время говорил, что карие глаза — на Руси примета не ахти какая. Да еще, пожалуй, в мужике, как и в Ксении, изредка проскакивало что-то восточное, но только это был другой Восток. Если внешность Ксении напоминала о Ближнем Востоке или даже о Сицилии или Испании — словом, о Средиземноморье, то здешний Трофименко вызывал ассоциации не то с Поволжьем, не то с «Белым солнцем пустыни». Правда, в прошлый раз он напомнил Косте Христа, но это был Христос, нарисованный каким-нибудь богомазом из Нижнего или Саратова, у которого у самого прадед был крещенный татарин. К тому же, роста мужик был среднего и, как заметил Костя, жилист и костляв, а

Ксения была ростом не выше метра шестидесяти и при этом упруга, как резиновый мяч, и задала, как редька; будь она худая, как этот Трофименко, Костя бы на нее глаз не положил.

Костю никогда не привлекали шваброподобные женщины, ему нравились такие, у которых, кроме костей, было что-то еще; и ни Ксения, ни Тамара в этом смысле не были исключением. Ксения принадлежала к тому типу женщин, особенно широко распространенному на юго-восточной Украине, который Костин отчим называл «бабелевским» и основными особенностями которого являются дородность, темные глаза, черные брови и не менее черные кудри вокруг головы. Обычно идеальное соответствие этому типу достигается с помощью косметики, что, кстати, делала и Ксения; она накручивала бигуди, красила свои светло-русые волосы в черный цвет, рисовала себе угольно-черные брови и сочно-красные, как у упыря, губы и, в результате, приобретала ту яркую, хотя и немного вульгарную, красоту, которая до сих пор не давала Косте покоя.

Тамара выглядела совсем по-другому. Это была классическая кустодиевская Венера — вся ее внешность красноречиво свидетельствовала о том, что женщина может быть красивой, не только не будучи худой, но и просто, будучи толстой. Волосы у Тамары были светло-рыжие, глаза голубые, а лицо — самое обыкновенное русское, ничем особо не примечательное, но с правильными чертами и потому до сих пор сохранившее привлекательность. Если Ксения напоминала Косте спелое яблоко — когда он Ксению обнимал, ему казалось, что из нее сейчас брызнет сок; то из Тамары скорей уж брызнула бы сметана. Единственное, что у Тамары и Ксении было общего, так это их классические русские габариты.

Почему Косте нравились такого рода женщины, трудно сказать. Может быть, потому, что сам он, несмотря на унаследованные от отца почти квадратную фигуру и хорошо развитую мускулатуру, был почти начисто лишен жира; а может быть, худые женщины просто подсознательно напоминали ему его мать и ассоциировались с матерью, а не с подружкой; кто знает? Сам он никогда не задумывался над этим вопросом и скорей удивлялся тому, что жердеобразная внешность считается бесспорным и единственным эталоном женской красоты.

### ГЛАВА 3

\* \* \*

Трофименко панки доставили первые хлопоты довольно скоро. Не прошло и пятнадцати минут после бегства командира, как троим из его бойцов приспичило прогуляться к зданию БД. Удерживать их было бы бесполезно, Трофименко ограничился тем, что выяснил у панков, куда они идут и когда вернутся. Вопросы — вполне логичные для имевшей место ситуации и не такие, чтобы из-за них особо выделяться, так что панки ответили, что идут к БД, а вернутся где-то через полчаса и тем самым как бы признали право Трофименко требовать ответов на подобные вопросы. Большого от панков требовать было невозможно — они и своего бы послали по адресу, не то что неведомо кем назначенного «старшего». Правда, с точки зрения Трофименко, большего вообще ни от кого не стоило бы требовать, потому как для хорошего бойца этого вполне достаточно, он и так не подведет, а от плохого — требуй с него, не требуй — толку все равно чуть.

Неизвестно, какими бойцами были панки, наверно, все-таки, не шибко хорошими, но вот снабженцами они оказались прекрасными. Минут через двадцать пять тройка воротилась с новой порцией пайка. На вопрос товарищей, как им удалось разжиться провизией, добытчики, давась от

смеха, пояснили, что представились роздатчикам монахами, приехавшими молиться за победу над Ельциным. Панков больше всего веселило, что одного из интендантов действительно звали Монахом — кличка у него была такая, погонялово. Добыча была немедленно съедена, причем безо всякой дележки, просто каждый взял себе столько, сколько позволила совесть.

Появившийся почти одновременно с интендантами командир не взял ничего. Впрочем, он вскоре снова исчез, забыв даже назначить старшего. Может быть, он считал, что, по умолчанию, старшим остается Трофименко. Сам Трофименко имел на этот счет другие взгляды. Его больше устраивала неопределенность.

\* \* \*

Эллин уже совсем освоился у костра, когда ему на память совсем некстати снова начала мерещиться Ксения. Чтобы не думать о Ксении, Эллин решил завести о чем-нибудь разговор с Трофименко, все равно о чем. Например, узнать у него, что это за компания такая, которую Костя видел, пока ждал Шишигу. Тусовка собралась под каким-то странным многоцветным флагом, похожим скорее на флаг какой-нибудь заштатной страны из третьего мира. Костя даже не помнил точно, что там были за цвета: вроде бы были среди них черный, красный и зеленый, и может, был еще какой, а может, и нет. И еще вроде бы была на флаге звезда, но, кажется, не красная, а какая-то другая — не то белая, не то зеленая... И еще ребята, которым всем на вид было лет по пятнадцать-двадцать (кроме одного уже зрелого мужика, который явно был у них за вождя и что-то им объяснял), еще они обратили на себя Костино внимание двумя вещами. Во-первых, все они были одеты однообразно и просто: джинсовые штаны и куртки из самого дешевого материала и здоровенные туристские ботинки — «вибрамы»; и эти самые однообразие и простота показались Косте какими-то искусственными, вроде как у средневековых католических монахов, которые не потому носили власяницы и подпоясывались веревками, что и вправду были такими бедными, а потому что изображали бедность. А во-вторых, некоторые из этой братии обладали весьма странной особенностью: хотя все руки-ноги у них были на месте, и вроде бы никаких физических дефектов не было, несмотря на это, они казались какими-то убогими. Вроде бы, не хромые, не горбатые, а все равно какие-то недоделанные. Если бы Эллин подольше поотерался в политтусовке, он бы заметил, что такими людьми она вся богата: такая убогость — это особенность той самой политшизы, к которой принадлежал Сережа Беляев. Хотя и не все представители политшизы имеют этот признак, но, во всяком случае, очень многие. Однако Эллин с политтусовкой знаком был слабо, к политшизе не привык, и обилие столь странных людей в одной компании не могло не обратить на себя его внимания.

Компания, обратившая на себя внимание Эллина, являла собой полуполитическую полурелигиозную секту с длинной аббревиатурой: БКНЛ ПОРТОС — и еще десятка полтора букв. БКНЛ означало «Братство кандидатов в настоящие люди», а что означали остальные буквы, не помнил никто, кроме самих братьев. Каждый вечер братья подсчитывали свои дневные поступки и переводили их в баллы, сумма которых по мере возрастания или убывания позволяла брату повышать или понижать свой коэффициент, от уровня которого зависело, является ли индивидуум нелюдем, кандидатом в люди или настоящим человеком. О том, как поступки переводились в баллы и как при этом братья контролировали друг друга во избежание неумышленной (а может, и умышленной) ошибки, можно было написать целую книгу. Может, таковая и была написана и служила портосовцам библией, а может, и нет, кто знает... Из живых кандидаты в настоящие люди признавали право называться настоящим человеком только за одним-единственным представителем человечества — своим учителем, который жил в Харькове, где, собственно, и находился своего рода центр БКНЛ. В России кандидаты в человеки жили в какой-то коммуне под Калугой. В соответствии со своим учением

каждый член БКНЛ должен был вести активную политическую жизнь и вступать во всевозможные организации, выискивая там потенциальных настоящих людей и стремясь пробиться в руководство. Организации явно не чужды были элементы массонства.

Как и положено настоящим сектантам, члены БКНЛ не пили, не курили, не ругались матом, занимались каратэ и вели аскетический образ жизни — детей заводить считалось разумным только по достижению обоими родителями определенного коэффициента.

Среди «левых» БКНЛ, возникший неизвестно откуда, уже успел (не без помощи Левого информцентра) наделать много шума, но Костя о нем ничего не знал. И уже собрался он было спросить об этой неведомой ему группе у Трофименко, как вдруг сообразил, что не знает, как того зовут. У прошлого костра полночи протрепались, а как зовут — не знает.

Костя сразу почувствовал какую-то неловкость. Раньше с ним такого никогда не бывало, чтоб он битый час разговаривал с человеком и не знал, как того зовут. Минут десять он пытался вспомнить, может быть, он просто позабыл, но так и не вспомнил. Еще какое-то время он просидел молча. Про Ксению он уже забыл, и теперь разговор ему, вроде бы, и не так уж был нужен, но кто его знает, а что, если им и дальше придется общаться, а он так и не может назвать человека по имени. Не обращаться же к нему в самом же деле: «Гражданин Трофименко!» Лучше уж сейчас спросить, потом будет еще неудобней.

— Слушай, — сказал Эллин, — ты извини, я забыл, как тебя зовут?

— Володя, — ответил Трофименко. — А ты, если не ошибаюсь, — Костя?

«Вовка! — промелькнуло у Эллина в мозгу. — Ну конечно, Вовка!» Он сразу вспомнил, что Ксения называла своего брата Вовкой. А он-то, дурак полночи ломал голову над тем, брат это Ксении или не брат, вместо того чтобы просто поинтересоваться именем! И снова у него в мозгу всплыла Ксения, и стало вдруг так хреново, как давно уже не было. «Ну и идиот же я! — подумал Эллин. — А что это он на меня так уставился? Ах да!»

— Костя, — подтвердил он. — Слуш, Володь, извини, я свалю на полчаса.

Трофименко кивнул. Наверно, его это огорчало — из всего отделения ему вряд ли было приятно общаться с кем-то, кроме Эллина, но Костя ничего не мог с собой поделать. Мысль о том, что никуда ему от Ксении не деться, что даже тут, у одного с ним костра сидит родной брат Ксении, добивала. Эллин вышел за баррикады, проскочил через двор мимо ментовского кордона и пошел, куда глаза глядят.

\* \* \*

Баркаши появились у панковского костра почти сразу после ухода Эллина. Судя по всему, среди всех защитников БД панки интересовали нацистов не меньше других, а может быть и больше. Другие были привычнее, с политическими активистами баркашевы уже основательно наобщались и могли с ходу определить, кто — свой, кто — чужой, кто — временный союзник. Те же, кто к политактиву не относился (да, впрочем, и из относящихся изрядная часть) в большинстве своем весьма смутно понимали, зачем они пришли сюда, они это куда лучше чувствовали, будучи движимы скорее инстинктом, чем разумом. Многие из таких при случае могли бы приветствовать или уж, по крайней мере, не отвергнуть и предлагаемый баркашами «русский порядок», если бы им только за это пообещали дешевую колбасу; они могли бы не осуждать его и даже славить в разговорах между

собой, но никто из них не был способен непосредственно участвовать в установлении этого самого порядка, никто из них не мог по-настоящему впитать всей душой его идею, ибо прежде всего их интересовала не идея, а колбаса. Они хотели того порядка, при котором едят. Агитировать таких людей за пассивную поддержку значило ломиться в открытую дверь, но агитировать их за поддержку активную значило ломиться в дверь, наглухо замурованную или даже не в дверь, а в бетонную стену, пытаясь пробить ее лбом. Панки были — другое дело, это был совсем иной материал; хуже он или лучше — это баркашам еще предстояло выяснить.

В прошлый раз панковские обитатели этого же самого костра восприняли «русские» идеи весьма дружелюбно, что должно было вселять в баркашевцев надежду. Увы, на этот раз им не повезло. Ничего удивительного в этом не было — панки в России всегда были средой неоднородной, и взгляды у них могли быть самые разные. В этот раз панковская компания довольно внимательно выслушала баркаша, после чего один из ее представителей признался в том, что является самым что ни на есть евреем. Заявление было явно провокационное, это коню было понятно, и баркаш начал возражать панку, что нечего, мол, врать, еврея сразу отличить можно, и невооруженным глазом видно, что панк — никакой не еврей. Тогда панк поинтересовался у баркаша, а уверен ли тот в том, что он сам — не еврей. «Не, ну откуда ты знаешь, — настаивал панк, — может, кто у тебя был евреем, может, дед, может, прадед, ты ж не можешь всех знать!» Баркаш утверждал, что может. Панк не соглашался. Прочие панки, хоть и не особо активно, но поддерживали своего собрата по тусовке.

Баркашу пришел на помощь его товарищ. Но панк уже разошелся. Сперва он вспомнил, что неподалеку от БД есть нечто вроде ассирийского квартала, эдакий «ассирийский дворик», и предложил баркашам доказать свою смелость, потолкав свои идеи ассирийцам. Потом он заявил, что на него как-то раз напали нацисты и ни за что, ни про что пытались забить его до смерти. «Если это были наши, то значит не хотели, — возражали баркаши. — Наши б хотели, они бы тебя убили». «Знаете, почему меня не убили? — не отступал панк. — у меня на рубашке, под курткой на спине была нашита свастика. Настоящая свастика, которая — в другую сторону. Они когда увидели, они меня отпустили».

Возразить против «настоящей свастики», которая, хоть и никогда не была символом нацизма и вполне могла быть на рубашке у панка, но, с другой стороны, баркашевцами тоже, вроде бы, уважалась, в данной ситуации было довольно сложно. В итоге, панк сохранил инициативу, а разговор поначалу пошел куда-то в сторону, однако в конце, когда баркаши, то ли разочаровались в панках, то ли исчерпали все свои аргументы, то ли просто оказались так утомлены словопрениями, что не имели уже сил возражать, панк вернулся к истокам.

— Люди бывают всякие, — заключил он, — в любой нации. И с евреями — то же самое. Есть украинцы, есть хохлы. Есть русские, есть, ну как их там?...

— Кацапы, — подсказал Трофименко.

— Ну да. Есть евреи, есть жида. Везде есть всякие. Так на кого угодно можно сказать, что все гады.

Прочие панки с такой позицией согласились. Трофименко тоже не стал возражать — при всей сумбурности терминов вывод его вполне устраивал. Он даже проникся некоторым уважением к панкам и подумал, что, может быть, с ними при случае можно будет иметь дело.

Баркаши какое-то время сидели молча, потом один из них пробормотал что-то в том духе, что, мол, ладно, все равно общее дело делаем, и оба сторонника русской идеи свалили. Зато вскоре на

горизонте замаячил тот самый придурковатого вида баркаш, на которого Трофименко обратил внимание во вторую ночь. Впрочем, он тоже помаячил-помаячил и исчез. Панки о чем-то переговаривались между собой, судя по всему речь шла о возможности бухнуть. Костя Эллин не возвращался. Трофименко, воодушевившийся было после спора панков с баркашами, вскоре снова погрузился. Положим, баркашей панки отшили. Ну а дальше-то что? Что может им сказать Трофименко? И что вообще он может тут сказать кому-нибудь в этой дурацкой ситуации? Все давно уже разделились по своим тусовкам, и пока будет эта стагнация, пока движение, действие не подтолкнет людей к поиску, никакая агитация невозможна.

В конце концов, Трофименко решил не мучиться и покориться судьбе. Если до утра ничего не случится, он уйдет и не появится тут больше, во всяком случае ночью, пока не начнется что-нибудь более живое. Когда оно начнется, тогда можно будет появиться снова. Если ничего нового не будет, если охрана БД, в конце концов, превратится в никому не нужный ритуал, на что, собственно говоря, и рассчитывают власти, значит, защитники сами виноваты, и нечего участвовать в этом позоре. Не худо бы, правда, взять координаты у Кости Элина. Он, похоже — парень хороший, с ним, наверно, можно иметь дело.

\* \* \*

Эллин проходил за пределами лагеря часа полтора. Сначала он брел по дворам и улицам куда-то в сторону окраины, пока не дошел до каких-то прудов, вытянувшихся вдоль неизвестной ему улицы (это был Красногвардейский бульвар). Обойдя один из прудов, Эллин постоял минут десять, глядя на темную воду, и пошел обратно.

Мокрая трава и столь же мокрый асфальт равномерно ложились ему под ноги. Сверху сыпал мелкий противный дождь. Стены домов намокли так, что это было видно даже в городской полутьме. Тучи покрывали небо сплошным слоем, как плесенью. Городские огни окрашивали эту плесень в какой-то непередаваемый ярко-розово-серый цвет, который бывает только у осенних туч в центре большого города, от этой раскраски небо становилось еще более мерзким, а настроение — еще более тоскливым. Но как ни странно, именно это ощущение всеобщей и беспросветной тоски оказывало на Костю успокаивающее воздействие.

Конечно, малоприятно, когда ты с утра до вечера горбатишься на работе, а получаешь за это такие гроши, что твоя подруга не желает связывать свою жизнь с тобой, потому что не хочет считать копейки; можно, конечно, сказать, что она в таком случае — не подруга, а проститутка, но только, если ты действительно нищ, а рядом какие-то хмыри гребут деньги лопатой и могут обеспечить своих подруг так, как ты свою не обеспечишь, тогда все равно становится обидно, даже если твоя подруга в самом деле поступает как проститутка. Но, с другой стороны, разве могло быть иначе в этом сером, отсыревшем, облезлом мире? Казалось, само собой разумеющимся, что в этом мире здоровые двадцатилетние мужики с утра до вечера убивают свою жизнь на работе, а их подруги оказываются обыкновенными шлюхами и бросают их из-за их, мужиков, бедности. И что, когда усталые, помятые жизнью люди вышли к БД не для того даже, чтобы сделать свою жизнь менее серой, а чтоб только не дать ей стать еще хуже, их окружили менты и солдаты, поливают грязью с экранов и газет и, в конце концов, пожалуй, разгонят — это тоже казалось само собой разумеющимся. Правда, где-то была другая жизнь для тех, кто ездит на иномарках или издает указы, для тех, кто приказал окружить защитников БД «силами порядка», а через пару-тройку недель, наверно, прикажет и разогнать, но эта жизнь была где-то далеко, в другом измерении.

Чем ближе Костя подходил к лагерю, тем меньше мучила его тоска, и когда он, наконец, снова оказался внутри баррикад — перестала совсем. Не то чтобы боль ушла, нет, но она как-то притупилась и, что самое важное, стала привычной, ну болит и болит, а у кого сейчас не болит? Костя уже собрался было идти к панковскому костру, как вдруг его внимание привлекло странное зрелище.

Справа от дороги, являвшейся продолжением Дружинниковской улицы, стояла толпа попов — самых настоящих в рясах и клобуках — и явно совершала какой-то неведомый для атеиста Эллина обряд. Со слов других зрителей, Эллин понял, что попы уже пропели анафему Ельцину, а теперь молятся за победу повстанцев.

Косте стало не по себе. До чего нужно было дойти, чтобы надеяться победить Ельцина с помощью молитвы, совсем как участники «крестового похода бедноты» надеялись открыть ворота Иерусалима с помощью креста! И дело-то было даже не в том, что крестоносные оборванцы оказались перебиты турками в первом же бою; Эллин не думал об этом, он просто чувствовал себя не в своей тарелке среди этого возрождающегося средневековья. Но уходить тоже было некуда. Там за баррикадами были растущие цены, работа за нищенскую зарплату и бросившая Костю Ксения. Эллин повернулся и пошел к панковскому костру, смутно надеясь на какой-то неожиданный и потому пока еще неведомый выход.

Он уже почти дошел до костра, когда вдруг почувствовал, что ему не худо бы завернуть до ветру. Мысленно выругав себя за то, что не сделал этого раньше, пока бродил по городу, Эллин шмыгнул за клены и, справив нужду на сетку забора, выбрался обратно. Ему оставалось только повернуть влево и пройти десяток-другой метров, но он остановился, глядя на черные окна БД.

Разглядывая объект своей защиты, Эллин не думал ни о чем возвышенном. Его интересовал простой прозаический вопрос: а как же выходят из этой ситуации обитатели Белого дома, у которых нет ни кленов, ни забора? Наверное, ведь что-то они придумали! Впрочем, предположить, что именно придумали депутаты, Эллин не успел.

\* \* \*

Трофименко, пригревшийся и задремавший у костра, проснулся от ощущения того, что где-то рядом — враг. Так просыпается охотник в тайге, когда поблизости оказывается хищник. Не вставая, Трофименко открыл глаза. Чутье его не обмануло — к костру подходила целая кодла баркашей. Подойдя, они полукругом окружили костер, а по центру, как раз напротив Трофименко отделенная от него костром (Трофименко лежал ногами к огню) встала худощавая особа на вид лет тридцати, но с манерами сорокалетней неврастенички, встала и начала расписывать, какое хорошее государство хотят создать баркаши для русского народа. Из ее объяснений явствовало, что хорошо в одной державе будет всем, но больше всех прав будет все-таки у русских. Неведомо откуда собравшийся к костру народ слушал, развесив уши. Какая-то бабка поддакивала. Возражать никто не возражал.

Трофименко огляделся и убедился, что пока он спал, панки куда-то свалили, а Костя еще не вернулся. Приходилось брать инициативу на себя.

— Я извиняюсь, — встрял Трофименко в разговор. — А я вот — не русский. Почему у меня должно быть меньше прав, чем у других? Я что виноват, что я — не русский? Или мне теперь другую страну искать? Так я здесь родился, хоть и не русский. Что мне делать, если я — не русский, а родился в России?

— Ну ты еще молодой, — заверила его патриотка. — Ты будешь постарше — ты все поймешь. Ласково

так заверила и с состраданием, будто больного успокаивала: «Все еще обойдется, люди с тяжелым пороком сердца по семьдесят лет живут». Казалось, еще немного и облизывать начнет, как сука щена. Но на Трофименко эта ласковость не произвела впечатления.

— Что я пойму? — удивился он. — Что мне лучше иметь неполные права, чем полные?

Дальше разговор пошел по кругу. Как песня «У попа была собака...» Трофименко требовал объяснить, что ему — инородцу делать в этом предлагаемом баркашевцами государстве, собеседница все тем же ласково сочувственным тоном отвечала, что он — молодой и еще все поймет, но что именно поймет, объяснять не хотела. Периодически она пыталась возобновить беседу с массажи, но Трофименко не давал — вежливо, но упорно требовал ответа, что же ему теперь делать, раз его угораздило родиться в России нерусским. В конце концов, стало ясно, что он не отстанет, а народ своих симпатий особо не выражал, за исключением одной бабки, которой идея больших прав для русских весьма понравилась, но и она не поддерживала патриотку в споре с анархистом — то ли считала, что та сама должна справиться, то ли не шибко словом владела; короче, разговор так и кончился ничем и агитпроцессия удалилась в темноту.

Трофименко облегченно вздохнул и огляделся. Панков все еще не было. Кости — тоже. Трофименко посмотрел на часы. Было немногим больше пяти. Трофименко вспомнил про переход и, выругавшись, перевел часы на час назад. «Ну вас всех в баню! — подумал он. — Дожидаюсь утра и сваливаю отсюда окончательно. Если и будет что путное, то не здесь.» Наверное, самым лучшим в данной ситуации было проявить последовательность и свалить сейчас же. Но Трофименко в душе продолжал надеяться, что, может быть, еще что-то изменится, появится Костя или кто-нибудь из панков, или произойдет что-то еще. К тому же ему не хотелось уподобляться своему «командиру», удравшему и бросившему «отделение», и хотя без малого два часа ничего не решали, Трофименко решил дожидаться шести. Он остался на неполные два часа для очистки совести.

\* \* \*

За почти четверо суток, прошедшие со времени его перепалки с баркашем, Эллин настолько забыл о ней, что даже не думал о самой возможности подвергнуться с этой стороны новой агрессии. Для него было полнейшей неожиданностью, когда чья-то рука цапнула его за куртку возле плеча, разворачивая вправо, и обладатель руки, одетый в камуфляж прошипел: «Я же тебе говорил, жидовская морда, чтоб ты тут больше не появлялся!» Несмотря на неожиданность, Костя быстро оценил ситуацию. Баркаш, ухвативший его за куртку, был один, но слева или верней теперь уже сзади слышались чьи-то агрессивные реплики, и краем глаза Костя успел увидеть, как двое баркашей вцепились в одного из панков, пытаясь того повалить.

Баркаш держал Костю правой рукой. Это, по-видимому, было ошибкой — для удара у нападавшего оставалась только левая. Правда, он мог быть и левшой. Эллин, однако, не стал этого выяснять. Агрессивность баркаша и начавшаяся сзади возня подтолкнули его к решительным действиям. Костя резким движением оторвал от себя руку нациста и зажал ее под мышкой, а затем, прежде чем противник успел понять, что происходит, подсел под него, прокрутился на сто восемьдесят градусов и по всем правилам вольной борьбы бросил баркаша через спину. Проделав сие, Эллин попытался было устоять на ногах, но борцовская привычка взяла свое — вольники — не самбисты, их учат прижимать противника к коврику — и Костя плюхнулся-таки вслед за баркашем, уронив бедолагу на грудь свои семьдесят два килограмма.

Эллин однако поспешил вскочить и правильно сделал, потому как еще один подоспевший нацик

попытался засветить ему ногой по физиономии. Костя поймал ногу, подсек другую, и баркаш опрокинулся на спину. Теперь самое время было приложиться ему ботинком между ног, чтоб не лягался, когда имеет дело с вольниками, но на это не было времени, ибо сзади уже лез первый баркаш, которому показалось мало одного падения с принятием Кости на пузо. Эллин поймал его на «мельницу». Лево́й рукой блокировал боковой удар, правую просунул противнику между ног, резко распрямился и не с колен, как положено на ковре, а с полного роста, да еще с разворотом зашвырнул нациста куда-то влево и назад. Тот приземлился возле одного из костров, чуть не угодив руками в огонь, и на время успокоился.

В следующее мгновение кто-то ловко ударил Эллина по ногам, отсекая обе сразу, и Костя покатился в сторону асфальтовой дороги.

\* \* \*

Трофименко, усталый и замерзший, стоял спиной к костру, лицом к Конюшниковской улице, всматриваясь в бледно-серую полутьму, когда сзади из темноты выскочила какая-то баба с криком: «Ребята, там у того костра ваших бьют!» Проклиная в душе и тех, кто бьет, и тех, кого бьют, Трофименко в несколько шагов оказался у «того» костра.

Двое баркашей валили панка. Чуть дальше еще один панк сцепился с баркашем. Трофименко попытался отодрать баркашей от панка, но тут на него самого на село двое нацистов. Трофименко рванулся в сторону своего костра, оторвался от преследователей, но навстречу ему уже подбегало еще двое. Он развернулся и на секунду замешкался, соображая, куда бежать — драться одному с четырьмя не имело смысла; и за эту секунду баркаши окружили его, теперь они были со всех сторон — спереди, сзади, с боков, куда бы Трофименко ни кидал свой взгляд, везде оказывались баркаши. Еще через мгновение, показавшееся ему, по крайней мере, минутой, они навалились сзади, пытались придавить к земле. Спереди тоже подбегали фигуры в камуфляже.

Перед глазами Трофименко возникла сюрреальная картина — вокруг него в странном танце медленно кружился хоровод баркашей; спереди от Трофименко они бежали влево и вниз по склону пригорка, а за спиной поднимались обратно. На самом деле все, конечно, было не так, просто кольцо баркашей, окруживших анархиста, стремительно сжималось. Но сумрак ночи, озаряемой отблесками костров, фантастическим образом искажил зрительное восприятие Трофименко, глядевшего к тому же исподлобья, потому что сзади сверху на него давили навалившиеся баркаши; а нервное напряжение искажило восприятие времени — секунда казалась вечностью; и это сочетание дало странное, нелепое отражение происходящего.

В мозгу Трофименко мелькнула мысль, что теперь ему не уйти, и его нож останется у баркашей в качестве трофея. И эта мысль родила другую — мысль о том, что нож дает ему возможность дороже продать свою жизнь. Он сунул руку под телугу, расстегнул застежку на ножнах, выхватил свое оружие и, целясь в крестообразную фигуру, проплывавшую мимо него, словно движущаяся мишень, ударил, стараясь поглубже всадить лезвие. Это стоило ему потери равновесия — он покачнулся, подался вперед, увидел, как поле зрения сужается от того, что баркаши закрыли остатки света, и уже нельзя понять, где один баркаш, а где тень другого, и, прежде чем упал, придавленный совместной тяжестью нескольких нацистов, успел ударить еще два или три раза.

\* \* \*

Скатившись с бугра, Костя обнаружил, что рядом никого нет, кроме одного-единственного

вцепившегося в него баркаша. Отодрав от себя назойливого нациста, Эллин вскочил на ноги и рванулся наискосок через бугор и клены к забору. Кто-то подставил ему подножку, но Костя, сделав длинный кувырок, снова вскочил на ноги и сиганул через забор. Баркаш полез было следом, но одновременно с ним на ту сторону плюхнулся панк, и преследователь растерялся. Пока он соображал, гнаться ли ему за Костей или переориентироваться на менее шустрого панка, обоих и след простыл — не то, что ловить, и высматривать их было бесполезно за толстенными стволами старых тополей и ив. Раздосадованный баркаш перелез обратно, но на всякий случай уходить не стал, затаившись между липами и кленами.

Ждал он, как оказалось, не напрасно. Через минуту панк снова появился на заборе, затем показался и Костя. Баркаш высунулся из кленов и жестом подозвал каких-то своих, по счастью, оказавшихся рядом.

Поведение панка объяснялось просто. Перед дракой он зачем-то разулся, и теперь ему не хотелось топтать по городу в одних носках. Костя, не сумевший отговорить товарища по несчастью, полез за ним. К костру он, однако, не пошел — остался наблюдать, стоя за кленами.

Панку так и не суждено было вернуться. Он нашел свои ботинки, но не успел даже повернуться лицом к забору — два баркаша, выскочив непонятно откуда, навалились на него сзади. Эллин успел свистнуть, но было поздно, а тут и его самого кто-то схватил за волосы и пригнул к земле. Костя изловчился, вспомнил уроки Рущева и, не тратя времени на замах, с завидной точностью провел удар в то самое, однако, место, по которому в боксе бить категорически воспрещается. Противник взвыл и ослабил свою хватку, Костя отцепил его руку от своих волос и снова рванулся к забору. Баркаш, преодолевая боль, попытался поймать Эллина за ногу, но Костя брыкнул упрямца и исчез за сеткой.

\* \* \*

Трофименко баркаши повели в штаб, рассуждая по дороге насчет того, что жаль не попался он «казакам» — те бы сразу пристрелили. Трофименко вспомнил казачишек, с которыми сидел в Доме на Таганке, и подумал, что с казаками он нормально разобрался бы, без драки.

Штаб баркашей помещался в спортзале недалеко от здания БД. Здесь их было видимо-невидимо — куда больше, чем предполагал Трофименко. Кроме баркашей тут торчала и полусумашедшая бабка, которую Трофименко уже несколько раз видел у Музея и в метро — торговала нацистской литературой. Перед дверями штаба какой-то баркаш съездил Трофименко по мурлу (благо, двое других держали Трофименко за руки), а в штабе анархиста поставили у стены с руками за головой, ошмонали, вытряхнув у него из карманов все, что возможно, и по ходу дела несколько раз постучали мордой о стенку. Но тут появилась телерепортерка с кинокамерой, и баркаши сразу перестали распускать руки.

Трофименко из разговоров баркашей понял, что он никого не убил, а только пропорол кому-то руку, и ему стало грусно. Безумно жаль было пропадать, никого из нацистов не отправив на тот свет.

Одновременно с телерепортеркой в штабе появилось двое ментов. Они первым делом велели Трофименко завести руки за спину и нацепили на него наручники. Затем один из ментов сел за стол записывать показания баркашей и Трофименко, другой просто стоял рядом.

Репортерка терпеливо дожидалась окончания допроса. Когда менты удовлетворили свое любопытство, она навела на иреановца телекамеру и спросила Трофименко, кто он по убеждениям.

— Анархист, — ответил Трофименко.

— Анархисты хотят все разрушать! — выдала бабка.

— Я — кропоткинец, — возразил Трофименко, чувствуя оскорбление не столько за себя, сколько за анархизм, — а Кропоткин никогда не призывал к разрушению. Наоборот, он говорил о созидании.

— Да, у Кропоткина действительно так, — подтвердила репортерка.

— Ну я не о Кропоткине, — занервничала бабка, — а о тех, которые себя сейчас называют анархистами.

— Мало ли кто как себя называет, — резюмировал Трофименко.

— А вы кто? — поинтересовалась репортерка у бабки.

— Мы — русские, — заявила бабка.

— Хорошо, что я могу назваться украинцем, — подумал Трофименко.

Репортерка спросила у Трофименко, считает ли он случайностью то, что сейчас с ним произошло.

— Нет, — ответил Трофименко, — не считаю.

— А как вы это объясняете?

— Очень просто, — ответил Трофименко, радуясь, что ему, по крайней мере, напоследок предоставили трибуну. — Дело в том, что не существует никаких красно-коричневых — это все выдумка тех, кому это выгодно. Есть красные, и есть коричневые. Между ними идет война, и то, что вы видите, — один из ее эпизодов. Я — красный, а меня сюда привели коричневые.

Эпитет «коричневые» весьма обидел бабку. Репортерка предложила ей изложить свою версию, и бабка начала рассказывать, что разные там нерусские нападают на русских ребят за то, что те — русские... Терпеливо выслушав этот бред, репортерка снова обратилась к Трофименко:

— Могу я для вас что-нибудь сделать?

- Можете, — отвечал Трофименко. — Позвоните, пожалуйста, по телефону... — он на секунду задумался, затем назвал телефоны товарищей по ИРЕАНу, — скажите, что Володя арестован нацистами.

— Так, кажется, вы себя называете? — обратился он к бабке.

Трофименко намекал на обыкновение баркашей подчеркивать, что они «не фашисты, а нацисты», но бабка ничего не поняла и заявила, что они себя так не называют.

— Как же вы себя называете? — поинтересовался Трофименко.

— Просто русские.

— Хорошо, — согласился Трофименко. — Скажите, что я арестован просто русскими, — он попытался произнести эти слова с максимальной иронией. — Они поймут.

Телевизионщица согласилась, но при этом попросила, чтобы Трофименко через нее передал своим

товарищам просьбу не мстить за него. И начался долгий торг, попортивший Трофименко немало крови — не мог же он, в самом деле, передавать иреановцам такое! В конце концов, телевизионщица смирилась с трофименковским упрямством, а может быть, поняла, что для анархиста такие просьбы передавать — просто запахло. Она, конечно, могла просто отказаться звонить иреановцам, но, видимо, это противоречило ее убеждениям. После этого репортерка на какое-то время замолчала, а Трофименко пришлось препираться с бабкой, которая все убеждала анархиста, что он вспомнит о ней, когда на небе увидится с Богородицей. Рассуждение о небе и встрече с богородицей в устах бабки вовсе не были запугиванием, она несла свою ахиною безо всякого подтекста и вполне серьезно. Потом бабка посмотрела на трофименковский нож, лежавший на столе, и безапелляционно заявила, что если это — хозяйственный нож (как было записано в протоколе), то она, бабка, — девочка. Молодой мент, глянув на нож, невозмутимо произнес: «Это — хозяйственный нож», — и бабка, хоть и пробормотала что-то по поводу неправильности официальной классификации ножей, но явно смутилась и Трофименко больше не донимала.

К столу, за которым сидел мент, по очереди подвели трех панков. Трофименко хотел было перекинуться с ними парой слов, но не смог — панков допрашивали в полминуты и тут же отводили от стола. На них повесить было нечего, и их вывели из штаба, за ними вышла и телевизионщица.

Баркаши, собравшиеся было вокруг пленного, тоже куда-то отошли. Оставленный в покое Трофименко почувствовал, что ему, несмотря на сырую погоду, здорово хочется пить и попросил у ментов дать ему воды. Менты ответили, что, мол, сейчас, только хозяйку спросим... Трофименко не сразу понял, что хозяйкой менты называют баркашевскую бабку. Впрочем, само по себе это было полбеда, беда была в том, что не кто-нибудь, а бабка принесла пластмассовый стаканчик воды и протянула его Трофименко. Это было уже слишком.

Как ни хотелось Трофименко пить, но пить из рук бабки он отказался. Менты сочли, что не хочет — и не надо, и предложили бабке воду унести, но та, неожиданно для них заартачилась. Какой шизой она ни была, все-таки у нее хватило ума понять, что Богородица ее за такие вещи не одобрит, и, к удивлению ментов, бабка предложила, чтобы стакан Трофименко подал кто-нибудь из них. Менты упирались, бабка мялась, и, в конце концов, компромисс нашел сам Трофименко, которому, честно говоря, из рук ментов пить тоже претило. Он предложил поставить стаканчик на стол, и бабка с явным удовольствием это сделала. Теперь у Трофименко совесть была чиста. Он наклонился, ухватил стаканчик зубами и, запрокидывая голову, вылил воду себе в рот. Вода, естественно, была сырая из под крана, а Трофименко терпеть не мог хлорированной воды (он пил либо колодезную и родниковую, либо уж кипяченую), но выбора не было. Вновь вошедшая в штаб телерепортерка выразила удивление по поводу того, каким способом Трофименко утоляет жажду, менты пояснили ей, что «он сам так захотел». Бабка предложила принести еще стакан, но Трофименко отказался, потому как знал, что воду опять будет нести бабка. В первый раз он, по крайней мере, не знал, кто принесет воду.

После этого Трофименко, упершись спиной в стену, сполз по ней на пол и выпрямил ноги, в такой позе он решил немного отдохнуть. Стоящий рядом мент, видимо, недовольный «привередливостью» арестанта, заметил, что, мол, правильно, много воды пить с похмелья вредно. Трофименко, уже, казалось, совсем отключившийся, среагировал мгновенно. «А я — не пьян, — прохрипел он. — И кстати, я прошу сделать экспертизу!» Мент, сидевший за столом, кашлянул и отвернулся в другую сторону.

\* \* \*

Выбравшись на Дружинниковскую, Костя наблюдал из-за домов, как вывели и отпустили панков, и как потом повели под конвоем Трофименко. Вслед за арестованным и двумя ментами шли трое баркашей и женщина с кинокамерой. Эллин на приличной дистанции проводил процессию до ментовки, после чего скрылся во двор возле сталинской высотки и задумался, оценивая ситуацию. Было ясно, что панкам ничего не угрожает, а Трофименко влип, и его надо выручать. Но как выручать, Костя не знал. Лучше всего, конечно, было бы сообщить об аресте Трофименко его родственникам, благо, телефон Эллин знал, заодно был и повод связаться с Ксенией, но этого-то Костя как раз делать и не хотел, потому что чувствовал: если сейчас он не перетерпит разрыв, то потом его уже не спасет ничто. Он уже собрался было ехать к Тамаре и просить ту, чтоб позвонила вместо него, как вдруг вспомнил, что Трофименко упоминал про некоего Бийца. Костя вздохнул и направился к метро. Зайдя в вестибюль, он порылся в карманах и нашел, то что искал — презентованную ему ксеньиным братом газету под названием «Рабочая демократия». Там, на последней странице в качестве контактного по Москве стоял адрес Бийца.

\* \* \*

Трофименко от тоски хотелось выть. Не первый раз он попадал в ментовку за поножовщину — девять лет назад он здорово порезал парня из-за одной особы, с которой у него, Трофименко были тогда те же самые проблемы, что теперь у Эллина с его сестрой, только намного круче. И хотя тогда Трофименко тоже защищался, ему поначалу шили статью двести шестую, часть третью, ту самую, которую, видимо, собирались шить и теперь. Потом его через трое суток после ареста освободили под подписку о невыезде, а потом и статью поменяли, так что он отделался годом исправработ. Но если бы тогда Трофименко вместо того, чтобы его освободить, сказали, что расстреляют, он бы, наверное, махнул рукой. Потому что жить ему тогда не хотелось.

Теперь, наоборот, хотелось выжить и выбраться на волю. Ведь он даже не убил нациста, только ранил. Он не сумел получить за свою жизнь или свободу ту цену, которую его жизнь и свобода реально имели, не для него самого — чорт с ним, а для только начинающегося возрождаться после десятилетий разгрома анархо-коммунистического движения, тем более, в такой момент. Завтра, послезавтра, ну может быть, через неделю этот баркаш оклемается и снова придет к БД, а он, Трофименко, не придет, его не будет, и, значит, в Москве будет еще на одного анархиста меньше.

Если бы в России на одного фашиста приходилось бы несколько анархистов, можно было бы считать, что баркаша добьют другие. Если бы их было поровну, но баркаш был бы убит, можно было бы, в конце концов, смириться и с разменом. Но в такой ситуации, когда фашистов в одной Москве несколько сотен, а анархистов — по стране несколько десятков, в этой ситуации даже размен был бы невыгоден, что уж говорить о таком проигрыше.

Наверное, только поэтому Трофименко, как это было ни странно, все еще продолжал надеяться на лучшее, хоть и готовился к худшему. Впрочем, это вообще было его правилом — готовиться к худшему и надеяться на лучшее. Самое худшее, правда, с ним уже не произошло — его не кокнули. Может быть, потому что не хотели шума — с ним рядом постоянно была телевизионщица, она даже дошла до ментовки и даже ментов предупредила, что «если с этим человеком что-то случится», то она этого так не оставит. А баркашам она, судя по обрывкам фраз, услышанных Трофименко, пообещала не передавать в эфир ничего об этом случае в обмен на неприкосновенность Трофименко. Очень может быть, что она появилась у штаба сразу после того, как туда привели Трофименко, и именно поэтому баркаши предпочли не разбираться с ним сами, а позвать ментов. А может у баркашей были по этому поводу какие-то свои соображения. Вобщем, как бы то ни было, он

остался жив. Но жив — не значит свободен — статья двести шестая часть третья, это ведь — сроком от трех до семи лет, но и это само по себе — еще не самое страшное, будь Трофименко на свободе, плевать бы он хотел, на сколько «тянет» его статья, пусть хоть на «вышку», кто бы заставил его идти на суд? У ИРЕАНа были контакты не только по всей России, но и в Украине и Белоруссии, которые уже стали заграницей, а совместная работа спецслужб была еще не налажена. Да только менты ведь — тоже не идиоты — Трофименко еще со времен своего первого опыта знал, что по такой статье, как двести шестая, да еще часть третья (это с применением оружия или спецсредств) редко кого выпускают под подписку и еще реже отпускают, не задержав сначала на трое суток. И вот ведь, казалось бы: есть презумпция невиновности, то есть, не пойман — не вор, и обвиняемый — совсем не обязательно преступник; а на деле, стоит только человека обвинить, и он сразу из тов. Иванова превращается в гр. Иванова, и его могут запросто посадить в следственную тюрьму, хоть он, может быть, ни в чем и не виноват, да еще, чтоб потом не разбираться, какого чорта он сидел, раз не виноват, его на суде наверняка признают виноватым и дадут хотя бы тот срок, который он уже отсидел.

Конечно, и тюрьма — еще не совсем могила, можно искать адвоката, добиваться замены статьи, а из лагеря иногда можно сбежать, можно, наконец, отбыть срок, но только это уже потерянные минимум полгода, которые будет идти следствие, а максимум — вообще хрен знает сколько. А в такой момент, не то что полгода — полдня много значит.

На то, что эта заваруха кончится победой ВС, Трофименко больших надежд не возлагал — если у БД верховодят баркаши, то для Руцкого Трофименко будет такой же враг, как и для Ельцина, а ,может, — и похуже, потому что никого из ельцинистов Трофименко пока не порезал, а баркаша — уже успел.

Менты, здешние менты, судя по разговорам, баркашей не любили, но не любили их не за взгляды, а просто за то, что те создают им лишние проблемы: то ларек где-то разгромили, то вот Трофименко приволокли, и разбирайся с ним. Но только для них, ментов, и Трофименко был ничуть не лучше и такой же защитник БД. Что от баркашей им неприятности, что — от Трофименко. Так что в их интересах было арестованного запереть покрепче и держать подольше.

Правда, просто так запереть они не могли. Нужно было либо отпускать человека, либо заводить дело. Для дела был нужен следователь. Но проходили часы, а Трофименко и не выпускали, и следователя он не видел. В восемь часов старая смена сдала дежурство новой, спихнув ей Трофименко, но и новая, похоже, не торопилась, а, может, ей просто не до того было. Правда, по настоянию Трофименко, его отвели в поликлинику, зафиксировать оставленные баркашами ссадины, а заодно подтвердить, что он — не пьян, но врач, как назло, куда-то отлучился, и мент уволок Трофименко обратно. Сбежать по дороге Трофименко не мог — руки были в наручниках, а мент с автоматом не отходил от него ни на шаг.

Трофименко никогда не бывал удачлив. Часто он попадал в полосу везения, и ему, несмотря на все прошлые уроки, казалось, что вот теперь он, наконец, добьется своего, доберется до вершины, на которой сможет передохнуть, и будет, наконец, счастлив. Но в самый последний момент судьба наносила свой удар, и Трофименко летел вниз, прочь от той самой вершины, до которой оставалось, может быть, меньше шага. Он так и не закончил институт, хотя и сумел дотянуть (правда с «хвостами») до шестого курса вечернего, не нашел себе пусть не высоко, но хотя бы сносно оплачиваемую работу, ему не повезло в любви, и много еще в чем ему не повезло. Но, не давая ему успеха, судьба никогда не давала ему и перейти тот рубеж, за которым уже невозможно воскрешение. Каждый раз, когда Трофименко был уже готов к тому, что вот сейчас он шмякнется о

дно пропасти, судьба в последний момент подхватывала его, не позволяя ему разбиться. Так она и кидала его вверх-вниз, не давая окончательно встать на ноги, но не давая и упасть, не давая выплыть и не давая утонуть.

Сентябрь девяносто третьего не стал исключением. Фактически судьба, подложившая Трофименко столь крупную свинью, начала его вытаскивать еще в штабе у баркашей, когда там вдруг оказалась журналистка с телекамерой. Потом все та же тележурналистка взяла у него телефоны товарищей и пообещала по ним позвонить. Но, видимо, судьбе этого показалось маловато, и она решила подстраховаться.

Пустая поначалу ментовка часам к десяти наполнилась задержанными. По случаю осады БД менты хватили народ довольно активно. У кого-то при обыске нашли охотничий нож, кто-то поперся на переговоры с патрулем в армейском бронезилете, да еще и с запалом от гранаты в кармане, двоих шоферов взяли за то, что те пытались проехать к БД.

Шоферам обоим было лет по тридцать пять — сорок. Один из них был маленького роста, темноволосый, глазастый и злой — последнее, впрочем, было вполне объяснимо. Будешь тут добрым, когда тебя хватают и волокут в ментовку. Трофименко он напомнил известного в ту пору артиста Карцева. Другой — наоборот, был спокоен, высок, широкоплеч, лицо у него было «без особых примет» с довольно правильными чертам. Этого-то мужика, единственного из всех и посадили в обезьянник, где сидел Трофименко. Почему — чорт его знает! Видимо, куча неудачных для Трофименко случайностей, по закону вероятности, сменилась кучей удачных. Ну не специально же менты решили помочь Трофименко, в самом же деле! Впрочем, если бы они, действительно, захотели ему помочь, лучшего соседа для задержанного, чем этот шофер, они бы все равно не нашли.

Сам Трофименко к своему соседу, узнав, что тот — трудоросс и защитник БД, поначалу отнесся насторожено. На трудороссов Трофименко насмотрелся, на защитников БД — тем более. Так что на вопрос о том, а как он сюда попал, Трофименко поначалу ответил уклончиво, дескать, была драка и, в итоге, забрали его, хоть и не он начал... Но когда трудоросс его прямо спросил, а не он ли это подрался с баркашами, Трофименко секунду-другую подумал и честно ответил, что он. И как оказалось — не зря.

Шофер, как выяснилось, был человеком нормальным, баркашей сам тепреть не мог, считая, что от них — один вред, и Трофименко в этой истории сочувствовал. Он, кстати, подтвердил и то, что Трофименко уже слышал вчера вечером, — трудороссам оружия не дали, а баркашам и казакам — пожалуйста. Дошел разговор до убеждений, Трофименко признался, что он — анархист — и здесь он встретил сочувствие. Оказалось, что его собеседник в свое время сам симпатизировал идеям анархизма и даже в комсомол из-за этого не вступал — было это в конце шестидесятых, как раз когда после Парижского мая говорили, что «Бакунин взял реванш у Маркса». Сосед Трофименко, по его словам, и сейчас в анархизме не разочаровался, но у Анпилова людей больше, поэтому он — там. Довод был привычный — Трофименко только вздохнул. Анпилова трудоросс хвалил за то, что тот знает всех по именам, и ругал за бюрократизм. Говорил, что революция должна опираться на рабочие коллективы, а то иначе опять все будет, как в прошлый раз. В общем, член ИРЕАНа и член ТрудРоссии быстро нашли общий язык.

В отличие от Трофименко, которому освобождение, похоже, уже не светило, обоим шоферов должны были выпустить не то, чтобы с минуты на минуту, но в общем, довольно скоро. Они везли в Белый

дом мазут — после отключения от городской электросети депутаты и их защитники, не долго думая, решили перейти на дизеля. Перед самым БД менты машины остановили и шоферов задержали, после чего на выручку своим людям пошел сам Анпилов. Связываться с Анпиловым менты не захотели и пообещали шоферов отпустить и вроде даже машины пропустить, потребовали только взамен не то накладные, не то еще какие-то документы, которые Анпилов и пошел добывать. В том, что он их добудет, сомнений ни у кого не было: ни у Анпилова, ни у шоферов, ни у ментов, вопрос был только в том, сколько времени это займет.

Трофименко, узнав о такой ситуации, естественно, попросил своего нового знакомого позвонить иреановцам, и тот, естественно, согласился. После этого они довольно долго беседовали о том, о сем, и только периодически Трофименко просил собеседника повторить номера телефонов (потому как записать их было негде и нечем), но тот ни разу не сбился. Трофименко сам имел хорошую память — в школе, в первых классах он никогда стихотворений не учил — запоминал с первого раза, потом, с годами она стала похуже, однако ж, практически любую из сочиненных им песен Трофименко мог повторить наизусть в любое время. Но вот, чтоб запомнить несколько ничего не говорящих цифр, — это ему было слабо, и способность трудоросса вызывала у него восхищение.

От трудоросса исходила какая-то внутренняя сила, уверенность в себе. Он во многом ошибался, но именно это делало его сильнее. Как религиозный фанатик спокойно переносит все мученья, веря, что, в конце концов, его все равно ждет вечное блаженство, так и новый знакомый Трофименко мог ничего не бояться, потому что был уверен: даже если с ним что-то случится, его силы не пропадут даром, даже если он погибнет, он погибнет за хорошее дело. Трофименко было хуже — он четко понимал разницу между своим делом и делом Анпилова или Бийца, а тем более, — Хасбулатова. И хотя, если бы какой-нибудь нейрохирург или гипнотизер (в телепатов, экстросенсов и иных чародеев он не верил) предложил Трофименко сделать его таким же наивным и заблуждающимся, как его собеседник, хотя, если бы такое случилось, Трофименко, собрав свои силы, отказался бы, все равно в глубине души он завидовал трудороссу. Ему, Трофименко, на собственном опыте в очередной раз приходилось убедиться, что «во многая мудрости многая печали».

Анпилов снова появился в ментовке в без каких-то минут пол-одиннадцатого и вручил ментам какую-то бумагу, после чего шоферов сразу же отпустили. Трудоросс пожал Трофименко руку (рукопожатье у него было таким же крепким, как и память) и ушел бороться за власть рабочих. Трофименко остался в обезьяннике со своей мудростью и своей печалью.

\* \* \*

Вадиму Дамье почти никто и никогда не звонил раньше девяти утра. Как и большинство профессиональных историков, Дамье был «совой», то есть, попросту говоря, вечером мог работать допоздна, зато утром любил поспать и раньше девяти обычно не вставал. Правда, двадцать шестого был переход на зимнее время, но зато было воскресенье, а по воскресеньям Дамье обычно вставал еще позже. Да и лег он в субботу позже, помня про перевод часов и надеясь за счет этого отоспаться. Понятно, как он удивился, когда ровно в восемь (правда, уже по зимнему времени) его разбудила жена, сообщившая Вадиму, что ему звонит какая-то женщина, которая, узнав, что он спит, попросила его разбудить, потому как дело у нее — очень важное. Дело у звонившей, видимо, было действительно важным, если она сумела добиться от жены Дамье, чтобы та разбудила мужа. Обычно собеседники и собеседницы, едва услышав на другом конце провода голос гражданки Дамье, похожий на мяуканье сиамской кошки, роняли трубку с испугу. Такая у Дамье была жена.

Звонившая представилась работницей какой-то телекампании, какой именно — Вадим не запомнил, да это было и неважно. Куда важнее была новость, которую сообщила телевизионщица и ради которой действительно стоило поднять человека с постели. Даже если бы ночью был переход не с летнего времени на зимнее, а наоборот. Новость состояла в следующем:

Телевизионщица звонит по просьбе некоего Володи. Утром возле БД произошло столкновение между этим самым Володей и членами организации «Русское национальное единство». В результате, один из членов РНЕ ранен, а Володя арестован и сдан милиции. В настоящее время он находится в одиннадцатом отделении милиции, но жизни его, по-видимому, ничего не угрожает, во всяком случае, она лично удостоверится, что с ним ничего не случится. Но она, в свою очередь, убедительно просит анархистов не мстить, потому что ничего хорошего из этого не будет... И дальше телевизионщица минут пятнадцать убеждала Дамье не бросать бомб и не стрелять из автоматов, не зная, что у членов ИРЕАН нет ни бомб, ни автоматов и даже с холодным оружием не густо, хотя у того же Трофименко дома были и ножи, и даже дубинка, утыканная гвоздями наподобие полинезийского меча, с которой он дежурил в Доме на Таганке.

Когда, наконец, разговор с работницей телевидения был закончен и она повесила трубку, Дамье принялся звонить Костенко. Хотя у Вадима было несколько знакомых по имени Володя, он ни на секунду не сомневался, что в данном случае речь идет о Трофименко. Из всех Володь, известных Дамье, один Трофименко мог не только притащиться к Белому дому, но и устроить там поножовщину с баркашами, благо, в разборках с ними Трофименко уже участвовал. Чем можно помочь товарищу в данный момент, Дамье точно не знал, но в чем он твердо был уверен, так это в том, что, чем больше своих будут знать о случившемся, тем лучше.

У Костенко было занято. Лозована не было дома. Зато удалось дозвониться до Котенко и до Юлии Гусевой, хоть и не входившей в ИРЕАН, зато входившей вместе с Лозованом в Группу радикальных анархо-синдикалистов, которая, что греха таить, из них двоих и состояла. Гусева, правда, на время куда-то слиняла, но дома был ее муж — бессменный лидер московского Социалистического рабочего союза (в котором, впрочем, тоже, кроме Гусева, оставался один человек). Дамье обрисовал Гусеву ситуацию, а через пятнадцать минут Дамье позвонила Гусева, и ему пришлось рассказывать все заново. Гусева, в свою очередь, сообщила Дамье, что Лозован, скорее всего, в здании правозащитного центра «Мемориал», где он подрабатывал в последнее время, и что она берется туда дозвониться. Это было весьма кстати, потому как в дверь к Дамье уже ломился сосед, которому, по закону подлости, тоже вдруг позарез нужен был телефон. Телефон был спаренный, и пользоваться им Дамье с соседом приходилось по очереди. Попросив Гусеву позвонить, кроме Лозована, еще Костенко, Дамье уступил, наконец, телефон соседу.

\* \* \*

Гомельские анархисты Глушаков и Логинов приехали в Москву утром двадцать шестого. Приехали не потому, что сочувствовали парламенту, этого, естественно, не было, а чтоб посмотреть, не будет ли что-нибудь путного из защиты БД. В Гомеле понять, что творилось в Москве, было невозможно, и гомельчане надеялись разобраться в ситуации, посмотрев на все своими глазами.

Два года назад такая поездка закончилась участием гомельчан в обороне, правда, на отдельной анархической баррикаде — анархисты, принявшие участие в тогдашней обороне Белого дома, не захотели смешиваться с ельцинистами, да и защищать «законную власть» им было запаadlo, так что они организовали собственную «баррикаду № 6», защищавшую здание теперешней мэрии, в

котором тогда помешались органы СЭВ. С ельцинистами обитатели баррикады № 6 не ладили и вскоре после ареста ГКЧП свалили, потому как радости от победы Ельцина не ощущали.

Впрочем, далеко не все анархи встали тогда на защиту БД. ИРЕАН в те дни выпустил и распространил листовку с призывом бороться и против ГКЧП, и против Ельцина. Среди левых организаций Москвы, да, пожалуй, и всей России, кроме ИРЕАНа такую позицию занял только Социалистический рабочий союз, во всяком случае, его московская группа; но в СРС тогда уже оставалось от силы пяток человек, а в московской организации — трое, в ИРЕАНе же тогда было человек двенадцать.

Как бы то ни было, но теперь гомельчане снова прибыли в Москву. Прямо с вокзала они начали дозваниваться Дамье, что было непросто — тому как раз звонили со всех концов Москвы по поводу Трофименко.

\* \* \*

После разговора с Глушаковым, который сумел ему дозвониться уже часов в двенадцать, Дамье собрался снова позвонить Костенко, но тут спаренный телефон как назло занял сосед. Дамье хотел было пойти к соседу, но потом решил, что Костенко, наверняка, уже все знает, так что можно и малость подождать. Минут через двадцать Дамье снова подошел к телефону, но тот неожиданно сам встретил его звонком.

Звонил незнакомый мужик, сообщивший, что его попросил позвонить Трофименко, с которым он обретался в одном отделении. Несмотря на то, что мужик был осведомлен о случившемся даже меньше телевизионщицы, Дамье все-таки узнал от него кое-что новое, а именно: баркаши, сдавшие Трофименко милиции, к тому времени, когда туда попал звонивший, уже разошлись, так что, по крайней мере, непосредственно жизни Трофименко действительно ничто не угрожает.

Едва Дамье повесил трубку, как телефон снова зазвенел. На этот раз звонил Костенко: «Вадик, поздравляю! Теперь у нас, наконец, есть свой мученик!» Дамье поморщился. Он не разделял энтузиазма Костенко.

\* \* \*

Следачка, допрашивавшая Трофименко, носила фамилию Гузюкина. Узнав об этом Трофименко подумал, что дела его, видно, совсем плохи — более мерзкой фамилии, по его мнению, и нарочно бы выдумать было нельзя. Такая фамилия у Трофименко ассоциировалась не то с гузкой и тем, что из гузки выходит, не то с гурзой, не то с гадюкой, не то и с тем, и с другим, и с третьим сразу. Судя по тому, как Гузюкина вела допрос, Трофименко был недалеко от истины. Возможно, анархиста подвело то, что он с самого начала выбрал неправильную линию поведения — Трофименко надеялся, что сейчас, когда у ментов и легавых без него, наверно, куча дел, ему, может, удастся сойти за простака, случайно влипшего в эту кашу, и тогда, может быть, его отпустят — просто, чтобы с ним не возиться. Не будь у него такой надежды, он махнул бы рукой и, может быть, даже честно сказал бы, что хотел он, чтоб не зря пропадать, зарезать баркаша, да оказалось — не судьба — он в ментовке, а баркаш — жив, и как ему, Трофименко, теперь от такой неудачи хреново — кто бы только знал! Но Трофименко надеялся все-таки обмануть этих хмырей, не имеющих никакого понятия ни о нацистах, ни об анархистах, ни вообще о чем бы то ни было, что выходило за рамки официального шаблона. Обмануть, чтобы выбраться на волю, чтобы снова делать свое анархическое дело, чтобы остаться в строю. И вот он тихим и грустным голосом начал объяснять, как на него бедного, несчастного работника ИСПИ налетело десятка два каких-то идиотов, он испугался, достал кухонный нож... Но то

ли Гузюкиной казалось слишком странным, что мирный политолог приперся на место работы с ножом, хоть бы и с кухонным, то ли она с самого начала была настроена верить баркашам, а не Трофименко, то ли, с ее точки зрения, раз человек — такой лопух, значит, надо этим пользоваться и поскорей его засаживать, чтоб потом было, чем отчитаться перед начальством, и нельзя было сказать, что в такой тяжелый для страны час наши доблестные органы мышей не ловят; словом, — то ли одно, то ли другое, то ли третье (а скорей всего, и то, и другое, и третье), но только Гузюкина, выслушав рассказ Трофименко (который по фактам-то ничего и не приврал, разве только на самом деле пришел он сюда не для работы, а скорей уж, под предлогом работы и баркаша пырнул не столько со страху, сколько со злости, и не ранить его хотел, а убить, но это-то все было непроверяемо), так вот, выслушав все почти до конца, она уже практически на последнем слове вдруг перебила Трофименко вопросом о том, зачем он был пьян.

Пьяным Трофименко на самом деле не был, а если бы был, то простой поножовщиной дело бы не кончилось, неизвестно, что бы еще мог тогда Трофименко выкинуть уже в спортзале, потому что в пьяном виде он был непредсказуем. Известно, как действует водка на чукчей, североамериканских индейцев и прочих представителей тех народов и племен, которые никогда не знали ни вина, ни пива, ни кваса, ни даже кефира и потому, не выработали у себя иммунитета к алкоголю. Сибирский или американский абориген от водки косеет со ста грамм и делается совершенно неуправляемым — хуже психа, а потом целый день, а то и два мучается от жесточайшего похмелья. С Трофименко было примерно то же. Неуправляемым он, правда, становился не со ста грамм, а где-нибудь с двухсот, но уж после этого он мало чем отличался от пьяного чукчи или команча. С похмельем у него было то же самое — в восемнадцать лет он, правда, вообще не знал, что это такое, но в двадцать мучился уже по полдня, в двадцать три — весь день, а к двадцати пяти похмелье не отпускало его до конца и на второй.

Может быть, это было наследственное — прадед Трофименко по материнской линии — ветеринар из поволжского города Балаково, в Гражданскую служивший в чапаевской дивизии, тоже был нестоек к алкоголю и, кстати сказать, хоть и считал себя русским, но происходил явно из, как тогда говорили, инородцев. Это было видно по его лицу — даже у самого Трофименко в лице подчеркнута европеоидные черты причудливо переплетались с подчеркнута монголоидными, а уж с его матерью татары в метро пытались заговорить на своем языке и здорово удивлялись, когда та их не понимала. Правда, прадед был, наверно, не только не из чукчей (откуда в Саратовской губернии чукчи?), но даже не из хантов или мансей, скорей уж — из крещенных татар или башкир. Потому как вряд ли хант или манси мог бы выбиться в ветеринары, а башкир или татарин мог. Так что, по идее, его предки какой-нибудь кумыс должны бы были знать. Но как бы то ни было, а факт остается фактом — вскоре после Гражданской бывший чапаевец спился окончательно.

Правнуку его повезло больше. Трофименко, зная, на что он способен в пьяном виде, и, не желая мучиться по два дня от головной боли, выпивал крайне редко, а уж когда связался с клубом любителей бега и начал бегать марафоны, так и почти совсем перестал. Сейчас, правда, Трофименко почти не бегал — не до того стало, да и раздевалка и душевая клуба давно уже были превращены в сауну для новых русских — но чаще пить все равно не стал. И уж конечно, не стал бы он напиваться в такой ситуации, когда не знаешь, что может случиться через минуту.

Естественно, все это Трофименко рассказывать не стал. Он просто сказал, что не пьян и что просил отвести себя на экспертизу, но ему было отказано. Гузюкина пропустила эти слова мимо ушей и начала спрашивать, зачем он кричал: «Бей полицию!» Трофименко отвечал, что ничего подобного он не кричал, и это было чистой правдой. Гузюкина, судя по всему, не поверила или не захотела

поверить, но, в конце концов, поняв, что Трофименко все равно этого не признает, стала выяснять, есть ли у Трофименко документы на право ношения ножа. Документов у Трофименко не было и быть не могло, потому как нож считался хозяйственным. Но Гузюкина утверждала, что нож — охотничий. Спорить с ней было бесполезно. Тут Трофименко впервые понял, что, видимо, избрал неправильную тактику — надо вести себя жестче, иначе эти сукиновы дети не только не захотят его отпускать, но и, напротив, решат, что он не в силах им сопротивляться и, значит, его можно и нужно поскорее упрятать за решетку. Трофименко потребовал показать ему нож. Гузюкина посмотрела на него так, как будто он сказал что-то непечатное. Но Трофименко заявил, что пока ему не покажут нож, он показаний давать не будет. Не скрывая раздражения, Гузюкина притащила нож. Нож в самом деле был охотничий, но это был не тот нож. Просто, пока Трофименко сидел в обезьяннике, менты остановили и обыскали какого-то мужика, нашли у него охотничий ножак и изъяли, а Гузюкина от большого ума решила, что это — нож Трофименко.

Только после того как Трофименко догадался сказать, что его нож, видимо, лежит вместе с отобранной у него же противогазной сумкой, а может быть, — и в этой самой сумке, Гузюкина соизволила это проверить. Трофименковский нож, в самом деле, был там, и в самом деле он не был охотничьим, так что физиономия у Гузюкиной стала такая, будто она вместо ложки меда по ошибке отправила себе в рот ложку дерьма. Она тут же свернула допрос и сунула Трофименко протокол на подпись. Трофименко прочитал протокол и подписал, сделав приписку на счет того, что ему было отказано в экспертизе на алкоголь и телесные повреждения. Гузюкина, глядя на это, только фыркнула, но Трофименко знал, что в случае суда это может пригодиться и что теперь, по закону, что суд, что следствие должны будут считать его, Трофименко в момент ареста трезвым, даже если б он на самом деле был бы пьян, как зюзя. Хотя до суда дотягивать, конечно, не хотелось — суд ведь будет через месяц-другой, а за это время тут все закончится; но, с другой стороны, если уж не повезет, то выйти из строя на семь лет — это еще хуже, чем выйти на два месяца или даже на два года.

Гузюкина забрала протокол, и мент повел Трофименко к мощной железной двери. За дверью был коридор, с одного конца которого был тупик, с другого — сортир. С одной стороны коридора была дверь, в которую мент ввел Трофименко, с другой — двери камер. Типичный вид изолятора временного содержания.

\* \* \*

Лозован появился в отделении буквально через пять минут после того, как Трофименко отвели в камеру, и первым делом сунул под нос ментам свое партинформовское ксиво. Менты сразу оробели и с перепугу указали на Гузюкину, которая еще не успела уйти. Ни у ментов, ни у Гузюкиной не было никакого желания объяснять, почему арестован человек, вся вина которого заключается в сопротивлении нацистам, кои к тому же, вроде бы, противники той самой власти, которую менты, да и Гузюкина представляют; однако Лозован начал качать права и требовать, чтобы ему как представителю прессы ответили на все вопросы. Может быть, он чего-нибудь бы и добился, благо, противник был ошарашен его внезапной атакой и растерялся; но тут один из ментов догадался еще раз просмотреть лозовановское ксиво и обнаружил, что оно просрочено. Журналистское удостоверение действительно было просрочено — потому как Лозован, по мнению начальства, приносил слишком мало информации, его сняли с постоянной ставки, и удостоверение ему не продлили. И хотя фактически он продолжал оставаться внештатным корреспондентом Партинформа, представители власти тут же придрались к тому, что документ — старый, и отказались разговаривать с Лозованом. Лозован предъявил было удостоверение ЛИЦа, но на нем не было печати, так как ЛИЦ тогда еще не был зарегистрирован.

Проиграв первый раунд, Лозован побежал к Белому дому, где, как он знал, были его знакомые — комсомольцы.

## ГЛАВА 4

\* \* \*

Логинов уже двадцать шестого умудрился пробраться к Белому дому. Там он, в конце концов, притусовался к костру БКНЛ ПОРТОСовцев и, позаимствовав у них гитару, спел довольно известную в те времена рок-песню «Твой папа — фашист». Песня про папу не понравилась баркашам, они отобрали у Логинова гитару, вернув ее кандидатам в Номо саренсы, и вывели гомельчанина за оцепление.

Здесь Логинов столкнулся с Лозованом. Валера полез было обниматься, но Лозован быстро умерил его радость, сообщив последнюю новость — звонила какая-то женщина, сообщила, что Трофименко арестован за драку с баркашами. Точнее — за поножовщину. Нужно срочно искать адвоката и, собственно говоря, Лозован за этим сюда и притащился, рассчитывая поговорить на эту тему с комсомольцами — может, они чего посоветуют.

Логинов не прочь был снова пойти к БД, но сделать это было непросто — солдатско-ментовское оцепление день ото дня становилось все серьезнее, и к двадцать шестому стало таким основательным, что преодоление его было уже непростой задачей. Логинову и Лозовану пришлось долго ходить вокруг осажденной территории, отыскивая лазейки. По ходу дела к ним прибился какой-то журналист, тоже мечтавший пробраться к Белому дому по своим журналистским делам. В конце концов, вся троица забрела в подъезд какого-то жилого дома, глядевшего противоположной стороной прямо на БД. В окно с лестничной клетки были видны баррикады и полоса асфальта перед ними. Под окнами медленно двигался вооруженный патруль. «Как немцы в кино», — подумал Лозован.

Дождавшись, пока патруль пройдет, Лозован с Логиновым открыли окно и собрались уже прыгать, как вдруг перетрусивший журналист начал хватать их за руки и уговаривать, что, мол, не надо, это опасно, и так далее, и тому подобное. Пока посылали журналиста туда, куда его следовало послать, снаружи всполошился патруль — видно услышал голоса из окна. Лазутчики затаились, но было уже поздно — буквально через несколько секунд солдаты появились в подъезде. Логинов сунулся в окно, но там его уже ждали. «Валера, ты — корреспондент белорусского Левого информцентра», — успел шепнуть Лозован товарищу, вылезавшему из дома под дулом автомата и, услышав: «Кто там еще, вылезай!» — ответил: «Спокойно, командир, мы сейчас через дверь выйдем.»

Лозована с журналистом действительно вывели через дверь. Представитель СМИ совсем оробел, зато Лозован держался совершенно спокойно. Его еще не спросили, кто он и что тут делает, а он уже упредил потенциальный вопрос: «Мы, все трое — журналисты. Мы, конечно, все понимаем, но у нас — тоже своя работа, для нас любая сенсация — это хлеб, вот мы тут свой хлеб и зарабатываем». Вскоре его с журналистом подвели к тому месту, где под охраной двух стволов стоял Логинов.

— Кто такие? — спросил один из охранников, видимо, старший.

— Не знаю, — ответил солдат из Лозовановского конвоя. — Говорят — журналисты.

— Журналисты, — подтвердил Лозован. — Я — корреспондент Партинформа и Левого информцентра, а это, — он кивком показал на Логинова, — наш белорусский корреспондент.

— А что вы тут делаете? — поинтересовался патрульный.

— Как это «что»? — изумился Лозован. — Деньги зарабатываем. Нам зарплату за репортажи платят. Если мы ни про что интересное не напишем, мы без зарплаты останемся.

— Документы есть? — спросил старший.

Лозован предъявил паспорт и два журналистских ксива — партинформовское и ЛИЦевское. Журналист — свои документы. У Логинова был только паспорт, но за него вступился Лозован:

— Он вечно свое удостоверение забывает, но я за него ручаюсь. Это наш белорусский корреспондент.

— Ладно, — сказал старший, — в милиции разберутся. Какое тут ближайшее отделение, кто знает?

— Сто одиннадцатое, — ответил Лозован.

Патрульный удивленно посмотрел на него.

— Точно?

— Точно, — подтвердил Лозован. — Тут совсем рядом.

Куда уж точнее! Трофименко отвели не куда-нибудь, а именно в сто одиннадцатое.

\* \* \*

Ксения об аресте брата узнала ближе к полудню. Вообще-то, ей вполне могли бы позвонить и раньше, потому что Эллин разыскал Бийца весьма скоро. Хотя Костя поначалу понятия не имел, где, собственно говоря, в Москве находится улица Октябрьское поле, он быстро сообразил доехать до одноименной станции метро, а там оказалось, что и улица рядом, и искомый дом стоит совсем недалеко от выхода из метро, и даже квартира Бийца находится в ближайшем от метро подъезде; так что не позже половины седьмого Эллин был у Бийца. Однако Биец с Мишей, выслушав рассказ Эллина и обсудив ситуацию, решили раньше времени панику не подымать и родным Трофименко не звонить, а для начала связаться с кем-нибудь из ИРЕАНа и где-то с восьми начали каждые пятнадцать-двадцать минут названивать Дамье и Котенко.

Но у Дамье было хронически занято, а с Котенко было еще хуже — несколько раз Биец, Голицын и даже Эллин звонили по номеру Котенко и просили позвать Андрея, и каждый раз раздраженный старушечий голос отвечал, что здесь таких нет и что нужно правильно набирать номер. Номер, судя по всему, набирали правильно, видимо, что-то барахлило на станции, но звонившим от этого было не легче. В конце концов, Голицын, нарвавшись в очередной раз на несчастную бабку, начал ее уговаривать, чтоб она позвонила по телефону, который он ей продиктует, и сказала Котенко, чтобы тот позвонил Бийцу по важному делу и уже почти было уговорил; но тут бабка вдруг спросила, а что, собственно, это за дело такое, из-за которого ей так необходимо звонить, и Миша по простоте душевной начал ей все рассказывать. Услышав про защиту Белого дома, бабка заявила, что Ельцин все делает правильно, а всех коммунистов надо перестрелять, потому что они — сволочи, и бросила трубку.

Пришлось опять звонить Дамье. В конце концов, все разрешилось самым неожиданным образом — позвонил Котенко, рассказать об аресте Трофименко, сам он уже знал об этом от Вадима. После этого решили все-таки позвонить родным арестанта. Костя, окончательно убедившийся, что арестованный

Трофименко — родной брат Ксении (телефоны арестованного и Ксении совпадали), наотрез отказался звонить, пояснив, что по личным причинам ему с родными Трофименко лучше не общаться. От более подробных объяснений он уклонился, опасаясь, что крутые революционеры заподозрят его в излишней сентиментальности. Миссию вестника взял на себя Миша Голицын.

Сообщение Голицына Ксению несколько не удивило. Она прекрасно знала, что ее брат ошивается у БД, и давно ждала, что он куда-нибудь влипнет. Конечно, случившееся ее не обрадовало. Хотя она и считала Владимира (как, впрочем, и всех, кто действовал, с ее точки зрения, нерационально) полным идиотом, но никогда при этом не забывала, что этот идиот — ее брат, хочет она того или не хочет. Однако и никакого потрясения Ксения не испытала все по той же самой причине — подсознательно она давно уже ожидала чего-то подобного. Пожалуй, было даже не ясно, плохо то, что случилось, или хорошо — если все обойдется и через пару дней брата отпустят, то, может быть, как раз за эти самые пару дней Белый дом возьмут, а непутевый братец пересидит самое опасное время в милиции и останется цел и невредим. Правда, могло и не обойтись...

В общем, Ксения, не теряя спокойствия, выслушала всю историю, после чего выяснила у Голицына номер и примерный адрес отделения, в которое доставили ее брата, и попросила Мишу на всякий случай оставить ей свой телефон, а заодно спросила, нет ли у него каких-нибудь телефонов товарищей Владимира, с которыми имеет смысл связаться. Вообще-то ничего хорошего от этих товарищей Ксения не ожидала, но на всякий пожарный иметь возможность связаться с ними считала целесообразным. Оставив Ксении телефоны Бийца, Дамье и Котенко, Миша простился с ней и повесил трубку.

\* \* \*

Нельзя сказать, чтобы менты особо обрадовались, снова увидев Лозована, хотя бы даже и под конвоем. Они прекрасно понимали, что раз у него есть удостоверение прессы, хотя бы даже и просроченное, значит, есть, по крайней мере, какие-то связи с прессой, так что, кто его знает, чего от него можно ожидать. То, что он был пойман у БД, не давало ментам никаких козырей, потому как не было никаких официальных постановлений и инструкций на счет того, что делать с теми, кто пытается пройти к БД. Поэтому самое лучшее, что можно было с Лозованом сделать, это поскорей отправить его, чтобы убрался, наконец, восвояси. Но поскольку совсем не нагадить задержанным всегда было для ментов просто унизительно, они придрались к тому, что Логинов живет в Москве без прописки, и потребовали с него штраф. Возражения, что Логинов только приехал, не подействовали — менты заявили, что, раз у него при себе нет билета, значит, он живет неизвестно сколько, и заперли Логинова в обезьяннике, отправив Лозована платить штраф в ближайшую сберкассу.

Вернувшись из сберкассы с квитанцией, Лозован поспел к большой перепалке. Ругались менты с Логиновым.

— Это гимн Франции! — возмутился Логинов.

— Гимн или не гимн, а петь тут нечего! — требовали менты.

— Я буду жаловаться французскому консулу! — грозил Логинов.

Лозован сунул ментам квитанцию и потащил Логинова наружу. «Я Марсельезу пою, — пояснил Валера, — а они не дают».

\* \* \*

Утром двадцать седьмого ОМОН и солдаты блокировали, наконец, БД. Теперь пройти к зданию было нельзя даже по дворам. Затем осаждающие начали опутывать окруженную территорию колючей проволокой. Это была не старая привычная проволока, которой окружались еще сталинские лагеря, это была новая, незнакомая еще для большинства россиян полупроволока-полужесть, она не колола, а резала, перелезть через нее было невозможно. В проволочном заграждении был оставлен единственный проход, у которого дежурили менты.

Внутри проволочного кольца не осталось почти никого из трудороссов — Анпилов уже несколько суток появлялся у Белого дома только днем, а на ночь уходил сам и уводил своих людей. Он поступал совершенно правильно — анпиловцам так и не выдали оружия, и держать в БД многочисленную, но безоружную «ТрудРоссию» было просто глупо. Защищать БД остались баркаши, офицеры и казаки — публика мало похожая на революционеров. Остался, правда, и маляровский комсомол. Наконец, остались пресловутый БКНЛ ПОРТОС и куча одиночек из самых разных организаций.

\* \* \*

Ближе к полудню трудороссы, не могущие теперь проходить к БД и скопившиеся в изрядном количестве у ближайших выходов из метро, устроили настоящий митинг между Белым домом и Баррикадной. Шум они подняли такой, что его было даже слышно в камерах ИВС, и Трофименко ломал себе голову: что же творится там снаружи? И хотя митинги были запрещены, но менты пока не решались трудороссов трогать. И многовато тех было, и не забыли еще менты Первого мая, да и непонятно было, чем вся эта заваруха с БД вообще кончится. Тем более, что время вообще было непонятное, неопределенное было время. Калининский проспект уже был Новым Арбатом, а улица Горького — Тверской, но Варварка была еще улицей Разина, Трехсвятительские переулки — Вузовскими, часть Кутузовского проспекта — улицей Маршала Гречко, а Пречистенский переулок (до революции — Мертвый) — Николоостровским. Уже не нужно было ходить на открытые партсобрания, но еще не нужно было ходить в церковь. Уже праздновалось Рождество, но еще праздновалось Седьмое ноября. Уже прошло время Брежнева, но еще не пришло по-настоящему время Ельцина. Уже народ перестал вздрагивать при слове «кагэбэ» и еще не начал вздрагивать при слове «фээсбэ». Странное было время — переходное. Ясно было, что рано или поздно это все закончится, и ясно было даже, чем это закончится по сути, но вот по форме... Не ясно было, чей портрет завтра надо будет вешать на стенку, да иной раз казалось даже, что глядишь, и ничей не надо будет, хотя менты и чувствовали нутром, что такого быть не может, чтобы ничей. А потому и не решались стражи порядка атаковать демонстрантов.

Но и к БД анпиловцев тоже не пропускали. И сколько ни шумели трудороссы, разогнать их не разогнали, но и они своего не добились. К середине дня стало ясно, что властям удалось отстоять новое status quo.

\* \* \*

Биец двадцать седьмого наведалься в штаб-квартиру РПК — благо, она была в пяти минутах ходьбы от его дома. С собой он прихватил Костю Эллина, к которому за время короткого знакомства проникся даже большим доверием, чем к тому же Мише Голицыну.

Ничего удивительного в этом на самом деле не было. Для Бийца существовало два критерия оценки людей — готовность выслушивать рассуждения о правильности теоретических воззрений Ленина-Троцкого и пение революционных песен. К последним Биец, поотиравшийся в свое время в КСП, относил не только классические вроде «Красная армия, марш вперед!», но и КСПшные песни о

Гражданской, написанные в ту пору, когда антикоммунизм еще не стал в КСПшных кругах признаком хорошего тона. Эллин угодил Бийцу по обеим статьям. В идеи Ленина-Троцкого он, правда, не особо верил, но, поскольку ему очень хотелось понять, что же это все-таки за взгляды такие у троцкистов, он слушал внимательно и только изредка вставлял что-нибудь вроде: «Ага, понятно», что было истолковано Бийцом, как полное доверие к оным идеям. Что же до песен, то Костин отчим сам был ярким КСПшником, так что Костя знал такие песни, каких и Биец не знал. И хотя мода уже пошла на ругание красных и восхваление белых, однако Косте эти прежние песни почему-то нравились больше «Поручика Голицына» — то ли из чисто эстетических соображений, то ли потому что один из костиных прадедов по материнской линии еще в семнадцатом вступил в Красную гвардию, а вот поручиков и корнетов среди костиных прадедов не было, да и предки отчима в свое время здорово натерпелись от деникинцев (они, правда, и от красных натерпелись, но все-таки поменьше). Как бы то ни было, но только, после того как Эллин сходу подпел Бийцу «Аксинью» и «Товарища Ворошилова на буланом коне», а потом сам спел «Только двое прорвалось нас...», Биец полностью убедился, что перед ним — человек надежный. Мише подобное доверие не светило. Взгляды Бийца он уже знал и позволял себе с ними спорить, а песнями КСПшными не интересовался, да и вообще ему медведь на ухо наступил.

Подобный метод оценки людей не раз давал сбои. К примеру, летом одна вокзальная люмпен-пролетарка, которую Биец агитировал (он любил агитировать вокзальных люмпен-пролетарок, употребив их сперва по обычному назначению), подпевала ему, подпевала про товарища Ворошилова, а потом взяла, да смоталась, прихватив с собой всю выручку от продажи «Рабочей демократии». Но ни этот, ни другие подобные случаи так ничему Бийца и не научили. А, может, он просто считал, что кто не рискует, тот не выигрывает.

Нельзя однако сказать, чтобы Биец был совсем уж полным лопухом, или что чутье его всегда подводило — иногда оно срабатывало безошибочно. И когда лидер РПК и по совместительству председатель штаба ФНС Крючков начал сокрушаться по поводу потери связи с БД, Биец нутром почувствовал удачу.

«Ну, не так уж он и блокирован, — заявил вождь КРДМС. — Мы туда можем хоть сегодня пройти, скажите только, с кем там связаться!» Крючков вытаращил глаза.

\* \* \*

Услышав о блокаде Белого дома, Миша Голицын решил сделать вылазку к Музею Ленина. Чутье не обмануло его — все баркаши остались в БД; там же, где нацисты когда-то нападали на распространителей очередного номера «Рабочей демократии», изданного на заложенные в ломбард серьги, что остались у Миши от бывшей жены, а еще раньше гоняли от Музея Донского, вызывавшего их зоологическую ненависть уже одним своим носом, там теперь сидела только бабка, торговавшая нацистской литературой. Миша подошел к столикам с литературой, посмотрел на столики, потом на бабку, которая почуяла что-то неладное, но не успела понять, что именно, и не торопясь, один за другим поддел ногой оба столика. Нацистская продукция посыпалась на асфальт, бабка заорала что-то вроде: «Израильский шпион» или «Сионистский провокатор», а довольный Миша направился к Александровскому саду. Через полчаса он появился снова. Бабка, метров за сто заметив Голицына, завопила: «Держите его!» но Миша спокойно подошел к столикам, повторил операцию и неспеша пошел к метро.

\* \* \*

Чулин как настоящий русский герой остался в строю, невзирая на рану. Ему было не привыкать —

летом, во время контрнападения леваков у Музея Ленина за всех досталось Чулину — его обрызгали из газового баллончика и огрели бутылкой по голове так, что он, студент Гнесинки, два дня не мог на слух отличить «до» от «соль», а уж об обычных тумачах и пинках нечего и говорить. Теперь опять из всех, кто брал анархиста, тот пырнул именно Чулина. Все шишки сыпались на бедного Макара.

В первый вечер после драки Чулина начало слегка знобить, но тогда это быстро прошло. Во второй — температура подскочила сильнее. Но теперь Чулину уже ничем нельзя было помочь — Белый дом был в осаде. Оставалось ждать, когда рана заживет, и температура спадет сама собой.

\* \* \*

Поздним вечером двадцать седьмого, точнее, — даже в ночь на двадцать восьмое на Краснопресненскую набережную вышла странная процессия. Шесть человек, дойдя до края набережной метрах в ста от Новоарбатского моста, огляделись по сторонам и, убедившись, что за ними никто не следит, начали спускаться по металлической лестнице вниз к бетонной площадке, тянувшейся вдоль набережной до самых опор моста. Первым спускался Биец; за ним следовали Черепенников, Пилипенко, Лагутенко и Эскин; замыкал строй Костя Эллин. Шестерка не собиралась крушить каменные быки ломами или подкладывать под них динамит. Вместо этого она направилась к ближайшему концу площадки, плавно переходившему в бетонное полукольцо, которое вместе с набережной образовывало микробассейн, отделенный полукольцом от Москвы-реки. Отделялся он, впрочем, не полностью — в полукольце были оставлены отверстия, через которые свободно протекала вода. С наружной стороны полукольца вокруг него плавали бутылки, обломки досок, куски пенопласта, мазут и прочая дрянь, покрывавшая воду сплошным слоем. Со внутренней — в набережной зияла огромная дыра, перекрытая почти до самой воды стальной решеткой. Из дыры в бассейн выливался довольно мощным потоком какой-то подземный ручей — очередной собрат Неглинки по несчастью. Может быть, это была та самая Пресня, которая и дала название всему району, а может, совсем другая речушка — кто знает? Процессия добралась до решетки, и Биец, цепляясь руками за прутья, первым протиснулся между ржавым железом и грязной водой.

Костю поведение Бийца несколько не удивило — он, разумеется, знал, каким путем собрался их вести великий вождь. Но если бы Костя даже ничего и не знал заранее, он бы все равно не удивился. Увиденное и услышанное им за последние дни и особенно ночи лишило его возможности удивляться, а последующее общение с Бийцем сделало сию перемену необратимой.

В самом деле, чему еще можно удивляться, когда выясняется, что твой новый знакомый, невзрачный двадцатитрехлетний субъект, выгнанный в прошлом из нефтегазового института — лидер самой крупной в России троцкистской организации — организации растущей и довольно активной, которой в будущем, может быть, предстоит сыграть в российской истории не меньшую роль, чем в свое время РСДРП; что твой случайный собеседник, щербатый мужичок в телге — это, оказывается, не только брат твоей бывшей почти жены, но и довольно известный московский анархист, участник самой шумевшей из драк у Музея Ленина (которые, возможно, войдут в историю); что оборванец Миша Голицын, которому сердобольные бабки дарили старую одежду, — один из виновников этой самой серии стычек между ультралевыми и ультраправыми.

Однако от всего того нового, что Костя узнал за последнее время, мир для него не стал шире, напротив, он стал меньше, сузился, сжался. Вдруг оказалось, что вождь партии, которой, может быть, предстоит еще стать «руководящей и направляющей», — это идущий впереди неряшливо одетый и провонявший табаком недоучившийся студент-химик с некрасивым веснушчатый горбоносый лицом

и грязными темно-русыми волосами, который неделю назад, по словам все того же Миши Голицына, на пару со своим ближайшим заместителем удовлетворял свои половые потребности с тридцатилетней пьяной вокзальной проституткой; что стычки у Музея Ленина, о которых, может быть, напишут в учебниках истории, были всего-навсего цепью обычных драк, когда десяток человек били одного или двух-трех за то, что кому-то нравится Троцкий, а не Гитлер или наоборот; что, наконец, все нынешнее противостояние, которое уж точно когда-нибудь будут проходить в школах, напоминает выяснение отношений между люберами и металлистами, с той только разницей, что враждующие стороны почему-то оказались вооружены не собственными кулаками и даже не стальными цепями и перчатками-кастетам, а дубинками и автоматами. Такое положение вещей наводило на мысль, что и те, кого уже сейчас признают вершителями судеб человеческих, о ком знает каждый школьник, все они так же, как и простые смертные, изменяют женам, лечатся от триппера, бьют и мучаются с похмелья, а по временам страдают от запора или, наоборот, от поноса. Из всего этого напрашивался малоприятный вывод, что все так называемые великие люди, все, чьи имена и деяния изучаются на уроках истории — обыкновенные ничтожества, игрою случая поднятые из глубины жизни на поверхность и только по нелепому капризу фортуны окончившие свои дни в спальне собственного дворца или в одной из самых престижных клиник мира, а не в тюремной камере или не в самом дешевом номере провинциального борделя. И когда, наконец, дошла очередь до Кости и он, поднырнув под решетку, вслед за всеми вошел в бетонную пасть, ему показалось, что вся вселенная с ее историей, с прошлым и будущим, со всеми событиями и их участниками, от солдат Александра Македонского и Юлия Цезаря, грабивших и разорявших весь известный им мир, до космических разведчиков грядущего, которым еще только предстоит разорять и загаживать вновь открытые миры, — все это безобразие уместилось в канализационной трубе от решетки до первого поворота.

До конца пути шли молча. Биец, привыкший бродить по подземным водостокам, знал их лучше любого диггера, разрекламированного «Московским комсомольцем», подобно тому как североафриканский бедуин или канадский индеец знают свои пустыни и леса лучше всех знаменитых путешественников-европейцев. Он продвигался по бетонному лабиринту так же уверенно, как по обычной знакомой улице. Аркаша, также набродившийся под землей (дурные примеры заразительны), ни в чем не уступал вождю. Черепенников был озабочен тем, чтобы не зацепиться башкой о бетонный «потолок». Лагутенко брел по воде, сосредоточенно глядя под ноги. Эскин восхищенно раззевал рот, взирая на подземный мир. Костя прикидывал, как отреагируют защитники БД на их появление.

На выходе движение замедлилось — теперь надо было не идти, а карабкаться по железным скобам. Один за другим троцкисты поднимались вверх и исчезали. Наконец Костя и сам добрался до люка, выключил фонарик и высунул из-под земли свой греческий нос. То, что он увидел, было для него полной неожиданностью. Он не увидел никого. Никого, кроме своих подземных спутников.

Перед Белым домом было пусто. Горбатый мост, асфальтовая дорога, ведущая от него, лужайка, на которой Костя выяснял отношения с баркашами, — все обезлюдело. Даже у самого здания никого не было. Все защитники ушли внутрь.

Не было у здания и никаких постов — все посты были выставлены у баррикад. Лазутчики беспрепятственно прошли в БД и принялись разыскивать сторонников РПК.

\* \* \*

Хасбулатовский министр внутренних дел Дунаев буквально обалдел, когда некая РПКшница привела к нему каких-то шестерых типов, пришедших «снаружи». Вместо того чтобы воспользоваться случаем, Дунаев, свыкшийся с тем, что его внутренние дела касаются только того, что творится внутри колючепроволочного кольца, проявил себя как последний тюха; и инициативу перехватил Баранников, чутьем профессионального КГБшника уловивший выгоду. Он зачислил лихих трубопроводцев в штат, выделил им охрану и выдал Бийцу ксиво с печатью. Теперь баркаши не могли гонять троцкистов. Дисциплина обязывала их относиться к «правительственной связи» с уважением.

\* \* \*

Чавчукова об аресте Трофименко узнала от Лозована — он позвонил спросить, не знает ли Чавчукова, где взять адвоката. Ничего путного на этот счет Татьяна предложить не могла, но пообещала спросить совета у Капуцинова. Старый диссидент Капуцинов, сам в свое время пообщавшийся с тюрьмой, должен был знать, и где искать адвоката и что вообще делать в таких случаях. Тем более, что предупредить его об аресте Трофименко надо было в любом случае — должен же Капуцинов знать, что его работник не загулял, а сидит за решеткой.

\* \* \*

Баркашевские чистки затронули не только анархистов. Уже из заблокированного БД ими был выдворен довольно известный в то время в государственно-патриотических кругах Сергей Кургинян. Что именно не поделили патриоты с патриотом, для широких масс осталось загадкой. Поговаривали, что Кургинян сказал о баркашах что-то не очень одобрительное. Так это или нет — бог весть. Известно только, что когда Кургинян шел один по коридору, к нему подошли двое баркашей и, уперев автоматы в живот, предложили следовать за ними. Баркаши вывели Кургиняна из БД, подвели его к проходу, за которым маячили фигуры стражей порядка, и предложили убираться за проволоку. Кургиняну ничего не оставалось, кроме как подчиниться.

\* \* \*

Двадцать восьмого по тамариному цеху разнеслась весть: грузчик Костя Элин ушел защищать Белый дом. Узнали об этом вроде бы и случайно, а с другой стороны, — вполне закономерно: кто-то из бригады спросил у Погудиной, как у той дела с Эллином, а Тамара ответила, что дела — как сажа бела — еще двадцать пятого Элин, как ушел к БД, так теперь от него — ни слуху, ни духу, а вчера их вообще оцепили, так что теперь вообще непонятно, что с Костей, потому как, хоть и говорят, что их всех оттуда выпускают и только внутрь не впускают, да только говорят, что кур доят, а Тамара как-то раз пошла — так и сисек не нашла.

ОТКшницы сначала было решили, что Погудина шутит, но скоро поняли, что нет. Через полчаса новость стала известна всему цеху. И все сразу почувствовали, что пресловутое «противостояние» — это где-то близко, совсем рядом. До сих пор вся эта котовасия была всем не то, чтобы безразлична, нет, о ней говорили, кто-то ругал Ельцина, кто-то — и тех, и других, но все это казалось каким-то очень далеким, хоть и проходило чуть не в самом центре города, и никого из простых людей, по крайней мере, из работников цеха не затрагивающим. Может быть, последствия всего этого должны были как-то повлиять на судьбы работников, но сами эти события напрямую их не касались. А тут вдруг оказалось, что один из грузчиков взял, да и ушел защищать Белый дом. Да мало того, что ушел один из грузчиков — Костя ведь был уже не просто грузчик, он, пускай в последнюю минуту, успел стать для всего цеха очередным мужиком Тамары Погудиной, и значит, выходило так, что и Тамара в сорок лет умудрилась стать вроде как солдаткой.

Странно получалось, вроде бы, что такое осада Белого дома — не Великая Отечественная война и даже не Афган, но ведь если с Костей чего случится, то Тамаре ведь все равно будет, откуда он не вернулся — с Великой Отечественной или с Белого дома. Да и ему — тоже. Правда, Тамара всю жизнь мужиков меняла, как перчатки, но то другое дело было — то мужики сами от нее уходили или она — от них, а тут... Именно то, что заваруха у БД зацепила не кого-нибудь, а Тамару, именно это тронуло всех, потому что, как бы кто к Тамаре не относился, но в глубине души за ее добрый и веселый нрав все к ней хоть немного, да испытывали симпатию, и никто не мог бы себе представить ни цех, ни фабрику без Тамары.

Тамара проработала на фабрике двадцать три года, хотя сначала попала туда совершенно случайно. Просто у одной из ее школьных подруг там работали не то какие-то дальние родственники, не то знакомые родственников — Тамара точно не знала. Подруга после школы хотела поступать в институт, но не прошла по конкурсу и на полгода устроилась работать на фабрику (тогда без этого в институт не принимали, считалось, что, если человек сразу не поступил, он должен идти работать, а не заниматься целый год неведомо чем). Подруга и посоветовала Тамаре идти туда же, сказав, что с десятью классами Тамару возьмут в ОТК без проблем. И действительно, взяли Тамару без проблем и оформили по второму разряду, а вскоре и третий дали, потому как людей на фабрике не хватало. Подруга уволилась, проработав с сентября по март, и пошла готовиться поступать в свой институт по новой, а Тамара, которой десятилетки вполне хватало, так и осталась работать на фабрике и никуда с нее не увольнялась, только один раз ушла в декрет.

Работа на самом деле была простая — проверять, соответствуют ли стандарту синтетические ленты-стропы, подсчитывая количество нитей в их основе и проверяя их на термостойкость и прочность на специальных станках, которые на фабрике почему-то все называли машинами, — может быть, за их внушительный вид. Зарплата была не ахти какая, но в общем — сносная, тем более, что у ОТКшниц были разные секреты, как работать быстрее (можно было, к примеру, разрывать ленты сразу на двух машинах) и за день выполнять не восьми-, а девяти- или даже десятичасовую норму работы. Пока Тамара была замужем, она, сделав свою работу «на восемь часов», норовила сбежать домой к дочке, а если начальство не отпускало, просто сидела и чесала язык, дожидаясь конца рабочего дня. Но с того времени, как развелась, она старалась заработать побольше и никогда не проверяла за день меньше девятичасовой нормы (разве что только проверять оказывалось уже нечего), находя, впрочем, время и для того, чтобы поболтать с подругами. В общем, ходила Тамара в передовиках и не слезала с доски почета, несмотря на свое далеко не образцовое облико морале; хотя, сказать по правде, кому из начальства какое дело было до Тамариного морального облика? Только дважды по этому поводу чуть не возникли крупные скандалы.

Первый раз — примерно через полгода после Тамариного развода тогдашняя директриса, большая моралистка, возмутилась, что Тамара мало того, что живет с кем ни попадя, так еще принимает от мужиков за это подарки. Но сказала она это почему-то не Тамаре, а начальнице цеха, чтобы та на Погудину повоздействовала. Начальница передала эти слова Тамаре, на что та ответила, что нечего, мол, ей в постель заглядывать, с кем она и чего — это ее личное дело, а насчет подарков, так директриса за месяц больше получает, чем ей, Тамаре, мужики за год надарят, пожила б на нормальную человеческую зарплату, тогда б и говорила.

Если б начальница передала Тамарины слова по адресу, то неизвестно, чем бы все это могло закончиться, но начальница, хоть и пришла на это место всего год назад, но в делах цеха уже разбиралась и Тамарой дорожила, а потому, хоть ответом и возмутилась, однако скандал постаралась замять; ну а директриса через месяц пошла на повышение, новой же тамарины похождения были до

фени. А второй раз Тамара здорово насолила уже непосредственно начальнице цеха, хотя, в общем-то, без злого умысла.

Было это в самом конце восемьдесят первого, когда на фабрику приехали киношники снимать репортаж для какого-то киножурнала. На беду приехали они вечером тридцать первого декабря — перед самым Новым годом, когда как раз заканчивался аврал, вся фабрика, включая ОТК, уже отработала, и только грузчики еще продолжали вкалывать. Работы им еще оставалось часов до десяти вечера, если не до одиннадцати, и работали они на горючем, потому что какой же грузчик будет в последний день года работать до одиннадцати вечера без горючего? Но самих грузчиков за горючим начальница не отпускала, боялась, что не вернуться, и в магазин для них бегала Тамара, которой они тоже поднесли за труды.

Непонятно, какого беса киношники заявили на фабрику в такое время (может, у них тоже был аврал), но только, когда они пришли в цех, Тамара была уже хорошая; она стояла прислонившись к машине, которая почему-то называлась «Минетти» (одна только Тамара по своей привычке к простым русским словам именовала ее «Х...есоской»), и рассказывала, как давным-давно, когда ей, Тамаре еще было пятнадцать, будущий муж лишал ее невинности. А начальница, естественно, ничего не заметила, потому что у нее уже от аврала у самой голова шла кругом, и вместо того чтобы обойти Тамару за версту, она подвела киношников прямо к Погудиной и сказала: «Вот наша лучшая работница ОТК — Тамара Погудина. Расскажи, Тамара, про свою биографию». А Тамара только вздохнула и выдала, глядя на киношников невинными, как у младенца, глазами: «Моя биография — сплошная порнография». Начальница мигом просекла ситуацию и попыталась замять разговор, но кто-то из киношников успел спросить: «Ну расскажите нам, Тамара, про свою жизнь», на что Тамара ответила: «Такая жисть, что только держись! Е...сь всяко: сидя, стоя, лежа, раком, е...сь на весу, даю в ж...пу, х... сосу!» После чего начальница на нее страшно обиделась, хотя и понимала, что сама виновата не меньше — кто ее просил показывать киношникам Тамару после того, как она сама давала той задание позаботиться о заправке грузчиков горючим.

Впрочем, через неделю киношники заявили снова и взяли интервью у Тамары по всем правилам, так что начальница несколько успокоилась, а Тамара загуляла с одним из киношников.

Среди работниц цеха по поводу БД не было единого мнения. Кто-то не любил Ельцина, кто-то — и Ельцина, и Хасбулатова, кто-то даже вспомнил, что в девяносто первом Руцкой и Хасбулатов были с Ельциным одна компания. Но все без исключения сочувствовали Тамаре. А потому и Эллина, кто бы он ни был — герой или дурак, все желали поскорей вернуться живым и здоровым. Даже начальница, хоть и считала, что буча — это, вообще-то, не дело и договариваться надо по-хорошему, но Костин поступок расценила положительно и даже на секунду подумала, а не оформить ли ему эти дни как рабочие? Но поразмыслив, решила, что это, конечно бы, хорошо, но не такая сейчас на фабрике ситуация с финансами, к сожалению.

\* \* \*

Если Капуцинов не растерялся, услышав об аресте Трофименко, то только потому, что он вообще не способен был растеряться. В той ситуации, когда у нормального человека появляется чувство растерянности, Капуцинов испытывал лишь чувство глубокой озадаченности, и такое появилось у него теперь. Было от чего. Нет, он, конечно, не испытывал никакой симпатии к нацистам, равно как и никакого благоговения перед царем Борисом, а старая диссидентская привычка заставляла его в глубине души сочувствовать любому политическому арестанту, будь он хоть бы и боевик с ножом,

не говоря уже о том, что Трофименко был ему нужен как работник. Но попробуй, вытащи человека из-за решетки в такое время!

Капуцинов припомнил свой собственный диссидентский опыт, надеясь найти в нем хоть что-то полезное для данной ситуации. Вспомнил, как арестовали и судили его самого, как пытались вытащить его товарищи, как он через три года вышел на свободу, как на радостях бухал с Ревуновым... Дальше его воспоминания вдруг пошли в обратную сторону. Он вспомнил, как пил с Ревуновым еще до ареста, как они познакомились, и только тут, наконец, понял, какого, собственно, чорта его мысль зацепилась за Ревунова. Вчерашний собутыльник Капуцинова теперь стал помощником президента, того самого президента, против которого восставал Трофименко. Конечно, помощник президента не станет тратить силы на спасение какого-то смутьяна, притащившегося с ножом в руках свергать и самого президента, и, пожалуй, что и всех его помощников. Но помочь человеку, с которым он когда-то пил водку, вытащить из ментовки нужного работника Ревунов должен.

\* \* \*

Во время одного из рейдов «правительственной связи» в БД двое баркашей арестовали-таки нескольких бийцевиков вместе с корреспонденцией. Вождю пришлось просить заступничества у Баранникова. Последний был пьян и спал, но зам. его Андрианов выполз из кабинета и растолковал баркашам, что те очень неправы. Униженные и оскорбленные патриоты земли русской молча проглотили обиду.

Биец, видя такое дело, совсем уж, было, загордился, но тут какой-то высокий светловолосый молодой парень, стоявший неподалеку, — в гражданской одежде и без шеврона со свастикой, но явно из одной команды с баркашами — поинтересовался:

— Так это вы что, по трубам проходите?

— По трубам, — ответил Биец.

— По воде?

— По воде. Знаешь — песня такая есть: «По рыбам, по звездам пронесит шаланду...»?

— Знаем... — усмехнулся высокий. — Шаланды, полные фекалии, в Одессу Костя привозил. Как там с фекалиями?

Быркаши фыркнули. Кое-кто из бийцевского конвоя тоже не сдержал усмешку. Андрианов показал остряку кулак, но ничего не сказал. Бийцу осталось только заявить, что, мол, придет время — сам узнаешь, и гордо удалиться вместе с подчиненными, корреспонденцией и конвоем.

Настроение баркашей, испоганенное выговором Андрианова, слегка поднялось — как-никак удалось одному из них хоть в словесном бою уесть нахальных троцкистов. Хотя Паламарчук не был одним из них, — он был только сочувствующим.

Паламарчук сошелся с баркашами вовсе не потому, что изначально был без ума от их рассуждений. Совсем наоборот — его знакомство со сверхпатриотами началось с того, что он высказал свое мнение об их печатной продукции. Вернее, даже не о продукции — он ее и не читал, только глянул на внешний вид, да на заглавия, а о самом факте того, что подобный бред продается не в дурдоме, а в центре города. Баркашам это не понравилось, и они спросили Паламарчука, сколько ему лет, и

почему он не служит в армии.

В армии Паламарчук не служил по вполне уважительной причине. За неделю до того как ему надлежало явиться с вещами, он из-за чего-то не поладил с тремя азербайджанцами. Гости с юга были в боевом настроении, что-то ему сказали, а он, вместо того чтобы промолчать, взял да ответил, слово за слово, один из ар кинулся в драку.

Паламарчук сразу понял, что его противник, судя по всему, занимался кигбоксингом и уже чего-то нахватался, но не настолько, чтобы с ним не мог справиться Паламарчук, в свое время, кстати, занимавшийся обычным боксом. Он сразил азера своим коронным приемом — левой «показал», как говорят боксеры, прямой удар в лицо, затем стал заворачивать руку будто бы для удара в корпус, но и по корпусу бить не стал, прокрутил руку дальше и достал противника боковым в голову. Руки южанина, прикрывающие лицо, ослабли, и Паламарчук добил ару прямым в подбородок — бедняга даже не зашатался, а просто рухнул, будто из него выдернули скелет.

Товарищи драчуна, не ожидавшие от москвича такой прыти, включились слишком поздно, и, в итоге, Паламарчуку пришлось иметь дело не с тремя противниками, а только лишь с двумя. Одного он отключил сразу. Просто ударил наотмашь тыльной стороной кулака и разбил ару нос. Но другой попался крепкий и, хоть и пониже Паламарчука ростом, но такой толстый, что бить его по корпусу, да еще сквозь куртку просто не имело никакого смысла; а голову он защищал умело, хоть и был, видимо, никакой не боксер, просто быстро сориентировался в обстановке. В конце концов, Паламарчук, наверно бы нашел подход и к нему, сойдись они один на один, но тут как на зло оклемался другой — с разбитым носом. Кулаками махать он не стал, а просто подставил Паламарчуку ногу. Зацепившись за нее, Паламарчук потерял равновесие, на миг раскрылся, пропустил удар, грохнулся на спину и, треснувшись затылком об обледеневший асфальт, потерял сознание.

Очнулся он уже в больнице с двумя сломанными ребрами и выменем, распухшим до размеров футбольного мяча. В итоге, больше полугода ни о какой армии не могло быть и речи, Паламарчук провалялся в больнице с ноября по март, да и потом еще долго ходил в поликлинику долечивать свое вымя ультразвуком.

Услышав неожиданную для себя историю, баркаши наострили уши. Они сразу поняли, что перед ними — потенциальный сторонник, если только его хорошо обработать. И они начали обрабатывать.

Разумеется реальные плоды обработка дала не сразу. Русского человека трудно убедить в том, что свастика, пускай даже красная и стилизованная под славянскую вязь, является символом патриотизма. Паламарчук в этом смысле не был исключением. В Отечественную двое братьев его деда по отцовской линии сгорели в танках, один — под Курском, другой — под Кенигсбергом, а по материнской оба прадеда вернулись с войны один без левой ноги, другой — без правой. Правда, не попади Иван Басков с Иваном Кошавиным в один госпиталь, может быть, не только не стали бы друзьями, но и даже не узнали бы ничего о существовании друг друга и, тем более, ничего бы не знали друг о друге старший сын Баскова и дочь Кошавина; а это значит — не появилась бы на свет Людмила Баскова, по мужу — Паламарчук, а, следовательно, и сам Анатолий Паламарчук не разговаривал бы с баркашами. Однако это не прибавило его симпатий к виновникам войны. Но баркаши упорно твердили, что их свастика — это и не свастика вовсе, а знак солнцеворота; что Гитлер, конечно, козел был, когда начал войну с Россией, но никто его за это и не хвалит, а хвалят его за другие дела, вот если бы он делал все то же, только с Россией не ссорился, а жил бы в дружбе, то все было бы прекрасно; и много еще чего говорили баркаши, а вешать лапшу на уши они умели. В

конце концов, Паламарчук начал привыкать к тому, что они говорили, потому как вместе с откровенной чушью говорили они и вполне разумные вещи — на этом, кстати, и строится хитроумное искусство вешанья лапши на уши. Смушал Паламарчука и баркашевский антисемитизм — лично ему евреи ничего плохого не сделали, но постепенно и к этому он начал адаптироваться. Не так уж неправ был Геббельс, когда говорил, что ложь, повторенная многократно, перестает быть ложью. Быть она, положим, не перестает, но вот восприниматься как ложь перестает — это точно.

Для нацистов Паламарчук был желанным приобретением.

Во-первых, он уже самим фактом своего происхождения олицетворял их идею о единстве восточнославянского народа. Его отец был полищук, то есть, попросту говоря, полесским (полисським, как говорят они сами) украинцем, однако родился и вырос в Белоруссии, потому как север Полесья при нарезке границ отдала Белоруссии — с тех пор и называется Бересття Брестом, и ассоциируется Полесье с Белоруссией, хотя белорусов там отродясь не было, а жили там всегда полищуки. Мать же Паламарчука была родом из Череповца, то бишь из северной России, из тех мест, где еще лет пятьдесят назад говорили на своем, теперь уже мертвом языке, который не могли понять жители Рязани или даже Москвы, ибо отличался он от южнорусского настолько же, насколько любой из этих языков отличался от украинского.

Во-вторых, одним своим видом Паламарчук иллюстрировал их любимую идею о том, что русские — большие даже арийцы, чем немцы. Анатолий внешне пошел в мать-череповчанку, от отца унаследовал только синие, а не серые как у матери глаза да чуть более короткий нос. Правда, и отец его при жизни был мужик не слабый, как и положено геологу, но сам он выглядел еще более внушительно. Высокий (метр восемьдесят семь с половиной), светловолосый, с удлинённым волевым лицом Анатолий Паламарчук казался сошедшим с агитационного плаката. Правда, внешность бывает обманчива, но если Паламарчук не врал (а баркаши чувствовали, что не врал), то в своей схватке с азерами он, хоть и был жестоко избит, но проявил себя как настоящий мужчина.

В-третьих, если на евреев его еще нужно было науськивать, то к уроженцам Кавказа и особенно Закавказья он после той драки большого расположения не питал. Тем более, что те трое ар вели себя, сказать по правде, как последние свиньи — нормальные люди, если бы вырубали втроем одного, то уж не стали бы его добивать так жестоко, даже если б сперва сами хорошо от него огребли.

Наконец, баркаши, кто уж их знает, почему, считали своими потенциальными сторонниками рабочих. Паламарчук был самый что ни на есть рабочий — слесарь-механосборщик. В свое время он, правда, планировал после школы поступать в геологоразведочный, чтобы идти по стопам отца, но смерть последнего (Роман Паламарчук замерз в экспедиции) все эти планы накрыла. Анатолий понял, что на зарплату матери семье долго не протянуть, закончил последний класс и подался на завод, рассчитывая проработать пару-тройку лет, а там, может, брат начнет прилично зарабатывать, может, в вечерний удастся поступить, словом, — там видно будет.

Правда, при таком росте цен, за которыми никак не успеть зарплате, Паламарчуку в будущем никакое обучение не светило, а светила работа с утра до ночи, чтоб с голоду не помереть. Это не прибавляло его симпатий к гайдаровскому режиму.

Несмотря на все вышеперечисленные плюсы, Паламарчук не успел за два с половиной месяца стать настоящим нацистом. В РНЕ он не вступал, да и речь об этом пока не шла. Однако у БД Паламарчук очутился уже в первую ночь. Он, как и Эллин, чувствовал, что при этом режиме у него нет будущего.

\* \* \*

Давным-давно, еще в Древнем Риме был сформулирован принцип: «Пусть рухнет мир, но пусть торжествует закон!» С тех пор прошли века. Рухнул и Великий Рим, и весь античный мир, и много еще чего рухнуло; но закон так и не восторжествовал, во всяком случае — во всем мире. К великой, впрочем, радости анархистов, видящих в этой неспособности приоритета закона утвердиться в мировом масштабе залог возможности вернуться от римского права к обычному, то есть к тому, чтобы всегда и везде руководствовались не законом, а совестью.

\* \* \*

Телефон зазвенел как раз в тот момент, когда Косых собрался идти в уборную. Помедлив секунду, он все-таки снял трубку.

— Одиннадцатое отделение, — сказал он недовольно. — Дежурный слушает.

— Здравствуйте! — сказали на другом конце таким подчеркнуто-вежливым тоном, каким обычно говорят те, кто может позволить себе не орать на собеседника, ибо много тому чести — и так все выполнит. — Вас беспокоит помощник президента. Тут к вам утром двадцать шестого числа доставили одного человека — его зовут Владимир Трофименко — дело в том, что он, вообще-то, не виноват — на него напали — он защищался. Может быть, он что-то и превысил, но не настолько, чтобы его за это сразу арестовывать.

— Кто на него напал? — переспросил Косых,

— Напали баркашевцы. Дело было у Белого дома...

— А что он там делал, у Белого дома? — поинтересовался Косых, не понимая, какого чорта помощник президента заступает за защитника БД.

— Работа у него такая, — пояснил собеседник. — Он собирает информацию по политическим партиям и движениям, в том числе и по коммунистическим, вот ему и пришлось идти туда по работе.

Косых начал что-то соображать.

— Что он, простите, собирал?

— Информацию. В данном случае о коммунистических партиях.

— Понятно, — сказал Косых. — А в чем его обвиняют.

— Обвиняют его в том, что он напал на баркашевцев, которые участвуют в этом путче, и ранил одного из них ножом. Но, согласитесь, что нормальный человек в одиночку не станет нападать на нескольких, тем более, — в подобной ситуации.

Косых хотел спросить, а что, если этот человек — ненормальный, но не решился.

— А нож у него был? — спросил он.

— Нож, насколько мне известно, был кухонный. Человек просто испугался, ну и схватился за первое, что попало под руку.

— Понятно, и что мы теперь можем сделать.

— По-моему, в данной ситуации его можно отпустить.

— На него, кажется, завели уголовное дело... — ляпнул Косых первое, что пришло в голову.

— Но ведь не каждого, на кого заведено дело, держат под арестом, — с легкой иронией в голосе заметил собеседник. — Я вас уверяю, он никуда не уедет — у него работы невпроворот, он сейчас за двоих работает — за себя и за сотрудницу, которая сейчас в отпуске по уходу за ребенком. Ему в этом месяце два отчета писать. Если он не выйдет на работу, кто за него их напишет?

«Чорт бы его побрал! — подумал Косых. — Будь он хоть сто раз информатор, почему именно я должен его выпускать?»

— Да-да, конечно, но ведь это не от меня зависит, — попытался он отвертеться. — Это же прокурор решает.

— Да, но прокурор не знает всех деталей. Я уверен, если вы ему расскажете о нашем разговоре, он примет его к сведению.

— Но ведь разговаривать буду не я, а следовательно...

— Ну так а вы поговорите со следователем! — судя по интонации, собеседник потихоньку начал терять терпение. — Впрочем, я и сам могу поговорить и со следователем, и с прокурором, если вы сообщите мне их телефоны.

«А что если это тувта? — подумал Косых. — Я дам телефон неизвестно кому, а они потом...»

— Нет-нет, — сказал он, — зачем вам беспокоиться, я сам поговорю.

— Большое спасибо! — услышал он в ответ. — Если будет нужно, я вам перезвоню. Всего доброго!

— До свидания! — сказал Косых и вдруг переспросил:

— Если что будет нужно?

Но на другом конце уже повесили трубку. Косых вешать трубку не стал.

— Ну ка, Козлов, — велел он сержанту, — позвони на станцию, узнай, откуда со мной говорили!

Проверка подтвердила худшие ожидания — звонили действительно из приемной Ельцина. Косых бросил трубку и крепко выругался.

— Что случилось, товарищ капитан? — поинтересовался Козлов.

— Что-что! — от волнения Косых забыл о своих естественных надобностях. — Шпион наш поп, вот что! Ельцинский агент. Он там, видишь ли, информацию собирал, а они, видать, его раскусили. А нам теперь звонят, чтобы мы его отпустили. Ему, видишь ли, отчет писать, да еще за двоих — за себя и за бабу, которая в декрете. Пианистка, твою мать!

Козлов, услышав про бабу в декрете, тоже вспомнил «Семнадцать мгновений» и чуть не фыркнул. Он вдруг заметил, что Косых здорово смахивает на Мюллера, вернее на Броневого в роли Мюллера.

— Что ты лыбишься? — разозлился Косых. — Что лыбишься? Молодой еще. Мал, да глуп — не видал больших затруднений! А я вот помню, как нас трясли, когда наши по ошибке ихнего майора кокнули.

Ты тогда еще «Мурзилку» на горшке читал, а я помню! Как его фамилия? чорт, забыл! обычная такая фамилия. А как нас тогда трясли — до смерти не забуду.

— А с виду и не скажешь, — заметил другой мент, — такой тихий, смирный...

— Конечно тихий! — хмыкнул Косых. — Каким ему еще быть после того, как мы его взяли? Зачем ему на нас за...паться, если за него помощники Ельцина звонят? Тихий, твою мать! Тихий-тихий, а мужика порезал. И бабу с телекамерой за собой привел. Сколько мы хулиганов брали, с кем-нибудь киношники приходили? Одного я не пойму, зачем он все-таки на этих гавриков с ножом кидался? Видно не рассчитал, надеялся уйти, да не вышло.

— Ну а чо теперь с ним делать? — спросил Козлов. — Выпускать что ли?

Косых встал со стула.

— Не наше это дело — выпускать его. Скажу этой, как ее, ну кто там ведет его дело, пусть сама выкручивается.

И, вспомнив, наконец, про свою нужду, направился к уборной.

\* \* \*

Как только истекли положенные трое суток, Трофименко начал вежливо, но настойчиво напоминать о себе. Менты его не выпускали, но и скорой поездки в Бутырку тоже не обещали. Трофименко раздумывал, начать ли ему скандалить или не стоит пока дразнить гусей (он должен был надоесть ментам настолько, чтобы они захотели от него избавиться, но не настолько, чтобы они из вредности нашли какой-нибудь законный повод задержать его здесь еще на трое суток), когда, наконец, его перевели в «аквариум».

Трофименко огляделся и убедился, что хрен редьки не слаще — сбежать отсюда было практически невозможно. Судя по всему, менты с минуты на минуту ждали санкции от прокурора, а потому не собирались отпускать своего пленника, зная, что через полчаса его все равно отправят, а там пусть доказывает, что просидел в изоляторе не семьдесят два часа, а семьдесят три. Однако дело повернулось иначе.

Через час-другой Трофименко вызвали к следаку. Следак вновь оказался женщиной, но уже другой, не Гузюкиной. Выслушав положенное объяснение, следачка заявила:

— Ну так вот, на вас заведено уголовное дело, и мы вас отпускаем.

— Под подписку? — переспросил Трофименко.

— Нет, просто отпускаем.

Трофименко понял, что тут — что-то не так. Вскоре выяснилось, что отпускают его не только без ножа и противогаза, но и без денег, без документов, без часов и расчески, бывших у него в карманах на момент задержания, и даже без ремня на поясе и шнурков на кроссовках. Все его вещи находятся в прокуратуре, и он может зайти за ними сейчас или потом, как захочет. «Ищите м....ка!» — подумал Трофименко. Но виду он не подал, продолжая изображать невинного бедолагу, случайно влипшего в эту историю, и даже пообещал зайти.

Его выпустили в два часа дня, и он медленным шагом дотащился до входа в метро, благо, метро было

в двух шагах. За дверьми походка его стала быстрее, движения четче. Подойдя к очереди в кассу, он изложил первому попавшемуся мужику ситуацию и попросил купить ему жетон. Мужик, оглядев просителя, молча вынул из кармана жетон, и Трофименко оказался в подземке. Он просидел в ментовке ровно восемьдесят часов, вместе с часом в штабе у баркашей — восемьдесят один.

\* \* \*

Двадцать девятого боевые действия активизировались и переместились в центр города. Демонстранты под предводительством Малярова, а потом и Константинова начали перекрывать улицы баррикадами из пустых троллейбусов и мусорных ящиков и устраивать тут же скорые митинги. При появлении ментов или ОМОНа строители удирали в метро, и под дубинки попадали иногда собравшиеся вокруг баррикад сочувствующие, а чаще — случайные прохожие. Тем временем маляровцы выбирались на другой станции, и все повторялось по новой.

Президентская сторона тоже не страдала от недостатка активности. По всему центру сновали отряды омонцев, при каждом шухере кидавшиеся на всех подряд. Во время одного из таких нападений пострадал Лозован. Он стоял у троллейбусной остановки с блокнотом, надеясь собрать материал для Партинформа, когда цепь омонцев вдруг окружила остановку и прошлась дубинками по стоящему на ней народу. Лозована дубинкой не огрели, зато порвали ему куртку. «Нет, хоть было бы за что! — возмущался потом Лозован. — Я с восемьдесят седьмого года в ДСе. Сколько раз нас винтили, а меня ни разу не забрали! Прямо, как будто заговоренный! А тут — просто по работе стоял! Ни за что, вот что обидно!»

\* \* \*

Вечером тридцатого, последним вечером сентября Тамара возилась у кухонной плиты, жалея, что некому оценить ее кулинарные способности. Звонок в дверь оторвал ее от дела. Тамара заглянула в глазок, но на лестничной клетке было темно, как у негра в ухе, и понять, кто стоит перед дверью, было невозможно.

— Кто там? — спросила Тамара.

— Свои, — послышалось снаружи.

Тамара хотела было ответить, что свои в такое время вечерами сидят дома и по улицам не шляются, но голос показался ей удивительно знакомым. Она снова глянула в глазок и присмотревшись увидела что-то, отдаленно напоминающее Костю. Забыв об осторожности, Тамара открыла дверь и увидела, что перед ней и в самом деле стоит Костя, только грязный, усталый и обросший. Костины джинсы из светло-синих превратились в темно-серые; кроссовки были выпачканы грязью; нижнюю часть его лица покрывала еще короткая, но весьма густая борода, несмотря на свою черноту, делавшая Костю похожим на убежденного русского патриота. Тамара посторонилась и пропустила Эллина в комнату. Через пять минут он уже сидел за столом, наворачивая Тамарину стряпню.

Тамара между тем ломала голову над тем, каким образом Костя сюда попал, и кто же он теперь — дезертир, разведчик, беглый арестант? В любом случае Тамара была рада, что он вернулся, но неизвестность не давала ей покоя, а спросить напрямую Тамара не решалась — боясь обидеть.

— Ты откуда? — начала она издалека.

— Оттуда, — отвечал Костя, не отрываясь от еды.

— А говорят, что вы отрезаны.

— Правильно говорят, — подтвердил Костя. — Так обложили — таракан не пробежит.

— А как же ты прошел? — удивилась Тамара. — По воздуху, что ли? Или под землей?

— Под землей, — согласился Костя. И отправив в рот очередную ложку, пояснил:

— По трубам.

Тамара помолчала, пытаясь решить, послали Костю в город или он сам сбежал, и не решила. Тем временем Костя разделался со щами и принялся за как раз подоспевшую жареную картошку.

— Ты один, — спросила Тамара, — или вас много?

— Шестеро, — ответил Костя. — Я, Биец — это лидер троцкистской организации — и еще четверо его человек, — Костя усмехнулся. — Мы теперь называемся «правительственная связь»!

Теперь Тамаре, наконец, все стало ясно.

— Ну и как там внутри? — спросила она, просто, чтобы поддержать разговор.

— Паршиво! — Костя, наконец, оторвался от тарелки и посмотрел на Тамару. — Понимаешь, там куча всяких националистов, монархистов и прочих кретинков, которые уверены, что у нас все беды — от инородцев. Этих идиотов там столько, что даже коммуняки воют, хоть они и сами помешаны на русской идее. Тем более, что им оружия не дают, а патриотне — пожалуйста! Всех более-менее нормальных нацики гоняют. Настоящие нацисты — со свастикой. Только они — русские нацисты, и свастика у них — какая-то русская, но все равно видно, что свастика. Они там — за полицию. Меня гоняли. Бийца дважды гоняли, когда рядом не было его друзей из «ТрудРоссии». Я тебе говорил, что у Ксении брат есть?

Тамара кивнула.

— Так вот он, оказывается — анархист, одним из первых строил там баррикады вместе с Бийцом. А теперь он сидит — неполадил с нациками и пырнул одного ножом, а они его сдали милиции. Официальной милиции.

Тамара покачала головой.

— Да, крутой парень...

— Анархист... — пояснил Костя. — Говорят, его не расстреляли только потому, что рядом оказалась телекорреспондентка. Но сдать ельцинской милиции — это тоже надо додуматься! И посадить его за то, что он порезал нациста, которые у нас сейчас «путчисты» — это тоже что-то.

— Значит, друг друга больше любят, чем анархистов, — усмехнулась Тамара. — Только и всего.

— Все они друг друга любят, — мрачно заметил Костя. — Знаешь, в кукольном театре бывает — две куклы дерутся, а на деле их обоих один хмырь дергает, так же и тут. Одна сволочь. У тебя-то как?

— У меня — нормально, — улыбнулась Тамара, — только без тебя скучаю. Ты надолго?

Костя на секунду задумался.

— Похоже, надолго. Туда-то мы точно в ближайшее время не пойдем, я, во всяком случае. Они там делают вид, что воют, а сами думают, как бы им повыгодней помириться. Пока говорят о «нулевом варианте», но я не удивлюсь, если, в итоге все опять будет, как до указа. Может, потом что и изменится, но пока там — спектакль. А я — не артист. Слушай, а можно еще картошки?

\* \* \*

Первого октября в Москве произошло событие, о котором не говорилось по радио и телевидению, о котором не писали газеты, но которое сыграло огромную роль в так называемых «октябрьских событиях». Тот, кто не знает о нем (а о нем не знает почти никто), тот не представляет себе «Малую гражданскую войну» или, вернее, представляет ее в искаженном виде. Впрочем, чему удивляться — вся нынешняя историческая наука построена таким образом, чтобы люди запоминали имена убийц и насильников, а не имена тех, кто мешал убийцам убивать.

Первого марта в Дзержинском райсовете, что был тогда на проспекте Мира, собрались несколько человек: анархо-синдикалист Вадим Дамье; неповторимый Ярослав Леонтьев; Гриша Тарасевич — самый молодой и самый умеренный из собравшихся, похожий на студента с картины Ярошенко и в самом деле — активист студенческого движения, в прошлом — член Товарищества социалистов-народников; депутат совета Александр Абрамович, обеспечивший собравшихся помещением — член партии «Новые левые», недавно отколовшейся от Партии труда («партии туда, партии сюда», как окрестили ее в левых кругах); Ольга Трусевич; Петя Рябов и другие, не оставившие столь яркого следа в истории этих дней.

Собравшиеся не сходились друг с другом ни по тому общественному идеалу, к которому они стремились, ни по методам достижения этого идеала. Дамье стоял за полный коммунизм по Кропоткину, а то, что все привыкли называть социализмом, глубоко презирал, считая разновидностью капитализма; Абрамович был, по сути дела, типичный эсдек; Тарасевич некогда по убеждениям был близок к левым эсэрам, но после развала ТСН начал резко праветь (может быть, потому, что разочаровался в идеалах) и ко времени переворота стал уже не красным, а, в лучшем случае, бледно-розовым; Леонтьев; Рябов; Трусевич — все они в чем-то не соглашались друг с другом, хоть между многими из них и были вполне дружеские отношения. Но в одном они были едины — никто из них не испытывал ни малейшей симпатии к ельцинскому режиму, но никто и не горел желанием спасти Россию старым известным способом, и никто не верил, что политика Руцкого будет хоть в чем-то отличаться от ельцинской. С другой стороны, никто из них не видел в данный момент реальной альтернативы происходящему, и это примирило их. Можно было и повременить с отстаиванием своих идей, коль скоро ни одна из них в ближайшее время не осуществима.

Итак, несколько человек разных убеждений, но сходящиеся в отрицательном отношении к обеим сторонам и одновременно в нежелании быть пассивными зрителями искали свое место в создавшейся ситуации. И тогда вновь всплыло предложение Леонтьева, выдвинутое им еще в первые дни заварухи. И на этот раз оно было принято. Первого сентября родилась левая санитарная дружина имени Максимилиана Волошина, названная так позднее, по предложению все того же Леонтьева. Удалось даже договориться с депутатом Моссовета Булгаковым о том, что тот официально регистрирует дружину и выдаст волошинцам соответствующий документ. Штабом дружины стало здание «Мемориала», где работала Трусевич, подрабатывал Лозован и частым гостем был Леонтьев. Большая часть мемориальцев поддерживала Ельцина, однако нашлось и оппозиционное меньшинство — оно-то и дало приют волошинцам.

Многие знающие Леонтьева считают, что создание сандружины было единственным успешным его начинанием. Впрочем, этого вполне было достаточно, чтобы оправдать свое появление на свет.

## ГЛАВА 5

\* \* \*

Костя провалялся до полудня, отсыпаясь за прошедшую неделю, когда он спал по два-три часа в сутки; а потом, позавтракав, дожидаясь Тамару, смотря новости по телевизору. Когда смотреть было нечего, Эллин подходил к телефону. Сперва он позвонил Маркелову, но того дома не оказалось. Потом — тетке. Потом — снова Маркелову и снова безрезультатно. Бийцу Эллин звонить не стал. Звонить домой было рано. Костя позвонил Сиротину — не застал. Еще покрутил переключатель программ телевизора. Снова позвонил Маркелову. Подумал, кому бы еще стоило позвонить, и вдруг понял, что в Москве ему звонить-то особо и некому — хоть в свое время у него и была в Москве куча знакомых, но последний год он практически ни с кем из них не общался, да и вообще мало с кем общался, кроме Ксении.

Тут только Костя сообразил, что он до сих пор даже не подумал о том, чтобы позвонить Ксении, и не потому, что считает бесполезным, а просто нет желания. Двадцать пятого, когда Эллин последний раз уходил от Тамары, он то и дело вспоминал про Ксению. И хотел бы не вспоминать, да не мог — сама в голову лезла. А теперь — стала для него совсем посторонним человеком. Когда он возвращался к Тамаре, то о Ксении даже не вспомнил, при том, что по Тамаре — даже малость соскучился. Где, в какой момент произошла эта метаморфоза? Там, в московской канализации? Неплохое место для избавления от любовных страданий!

Костя подумал, что как бы то ни было, а это к лучшему. По крайней мере, теперь легче. Конечно, Тамара тут — не при чем. Какая может быть Тамара в канализационной трубе? И вообще, подобные вещи переживали многие, безо всякой Тамары. Пожалуй уж, странно в этой истории не то, что он вдруг так неожиданно избавился от своей прежней привязанности, а то, что он, пусть не так и сильно, но все-таки привязался к Погудиной. С чего бы это? Горячая греческая кровь? Хотя при чем тут греческая кровь? Костин прадед, тот самый, что вступил в семнадцатом в Красную гвардию, был чистокровный финн, а и его окрутили. Правда прабабка была не вдвое старше прадеда, а так, раза в полтора, но зато ему пришлось на ней жениться. Хотя, там все было иначе, да и вообще та история была — глупее некуда.

Тогда, в сентябре восемнадцатого, после неудачной стычки не то с чехами, не то с Комучем, закончившейся разгромом красного отряда, чудом уцелевший будущий костин прадед — тогда еще восемнадцатилетний красноармеец — некоторое время отсиживался в погребе у местной вдовы-солдатки. Через месяц он вернулся в эти края в составе красного полка; полк разместили по избам в другом конце села, а прадед по старой памяти несколько раз заглянул в тот самый дом, где он недавно прятался от белых. А еще через неделю его вызвал комиссар и объяснил, что разная недобитая контра распространяет среди крестьян свою пропаганду — дескать, большевики все — люди безнравственные — детей не крестят и с женами не венчаются, да и вообще не женятся, а живут, с кем ни попадя, и всех хотят такими же сделать; и пропаганда эта среди несознательных элементов имеет успех. «А потому, комсомолец Орголайнен, венчание — это, конечно, бред собачий и опиум народа, но вот законным гражданским браком вам в интересах революции надлежит сочетаться, а то на вас уже пальцами показывают, как на живую иллюстрацию буржуазно-кулацко-

помещичьей пропаганды!»

Прадед со вдовой только за жизнь говорил да про скорое всеобщее счастье рассказывал, ничего такого между ними не было; и хотел он было все это выложить, но, услышав про интересы революции, заткнулся и в тот же день оказался женат на женщине, по крайней мере, лет на десять его старше. Бумажку об этом ему накатал сам комиссар. Кстати сказать, на успехах буржуазно-кулацко-помещичьей пропаганды это никак не отразилось, и уже в двадцать первом, когда комвзвода Орголайнен приехал в отпуск в село, к нему заявили трое его шуринов и прямо спросили, собирается ли он по-человечески в церкви обвенчаться или намерен и дальше их сестру позорить? Красный командир попытался было объяснить мужикам про опиум для народа, но братья только спросили: «А это ты видал?» — и показали ему свои кулаки величины необыкновенной. Тогда прадед достал свой ,раунинг и сказал: «А это видали? По пуле — на каждый кулак, и еще одна останется — на всякий случай!» — после чего братьев — как ветром сдуло.

Вспомнив про прадеда, Костя неожиданно для себя подумал совсем о другом. О том, что прадеду в его — Костины годы кое в чем было легче. Прадед твердо знал, за что он воюет. Вернее, не знал, но был уверен, что знает. А за что собирается воевать он — Костя? Да и не собирается — воюет уже, хоть и не держал в руках оружия. Если вдруг Ельцин завтра полетит, что тогда? Возвращение «застоя»? Не выйдет. Полстраны надо пересажать, чтоб смирились. Да и не дадут патриоты. «Народная приватизация без жидов» под президентством Руцкого? Значит, опять то же самое, только роли поменяются. Может, защитники БД что-то выгадают, хотя бы часть из них, ну а остальные так и останутся в заднице. Или революция по Бийцу? У него сейчас есть шансы. Хотя, если будет выделяться, его, скорей всего, заткнут. А если не заткнут? Если передерутся сталинисты с патриотами, и Биец опять сделает удачный ход? Тогда что, новый семнадцатый? Если Биец влезет на броневик, то и Эллина что-то перепадет.

Костя усмехнулся. Ну ладно, пусть лично он что-то выгадает. Пусть он даже станет вторым человеком после Бийца. Пусть даже первым. А что остальным? Спасибо товарищу Элину за наше счастливое детство? Чем он тогда лучше Ельцина? Тем, что победил? Если он, конечно, победит...

Нет, перед этой системой он чист. Он не шутил, тогда у БД, когда отвечал репортеру. Все эти восхвалители «новой жизни» могут говорить о нем что угодно, но на самом деле он не нарушал защищаемых ими законов. Если можно все, если прав тот, кто сильнее, если нет никаких правил, вернее, они, может, и есть, но устанавливаются опять-таки теми, кто сильнее; значит, можно и менять власть, значит, прав все равно будет победитель. Каждый зарабатывает, как может. Кто-то грабит народ, а кто-то — банки. Кто-то служит Ельцину, а кто-то — Хасбулатову. Банкир рискует разориться, Костя — сесть в тюрьму. Если банкир разоряется, то прав его конкурент. Если разоряется его конкурент, то прав он. Если Руцкого посадят в тюрьму, то прав будет Ельцин. Если Руцкого посадят на трон, то прав будет Руцкой. Та же логика. Идет война всех против всех, и прав тот, кто побеждает. Но если он — Эллин принял правила игры, то зачем вообще огород городить? Проще пойти, найти Босса и попросить его устроить Эллина охранником. Босс наверняка найдет ему место. Или здесь ставки выше? Спасибо товарищу Элину...? Эллин представил себя с трубкой в зубах. Нет, это, конечно, бред. Но за что же он все-таки воюет? Против чего — понятно, а за что? Чорт его знает...

Костя недовольно поморщился. В конце концов, до сверженья Ельцина еще дожить надо. А пока там никаким свержением и не пахнет, большинство БДшных шишек спят и видят, как с Ельциным договориться. Эллин вспомнил, как они с Бийцем в Белом доме случайно подслушали разговор — кто-то из БДшной верхушки разговаривал с какой-то шишкой из Союза офицеров, дескать, откуда-то

нам на помощь идут двадцать человек с автоматами, так как бы нам этих людей отшить, потому что, хрен их знает, что это за люди и каких они взглядов. Уж с такими-то ему точно не по пути. А с кем по пути? Костя снова задумался, но так и не нашел ответа.

\* \* \*

На Бийца костин уход не произвел особого впечатления. Уходя, Эллин пообещал вернуться, так что Биец, был уверен, что новый сторонник (а он уже считал Эллина таковым) ушел не насовсем; ну а временная отлучка была вполне объяснима, тем более, что в борьбе Ельцина и ВС, похоже, наступило затишье. К переговорам подключилась церковь, Ельцин, вроде бы, понял, какую кашу он заварил, и стал малость поосторожней, да и в Белом доме до сих пор не больно-то хотят драки. Это понятно и по случайно подслушанным разговорам и обрывкам фраз, и по тому, как баркаши делают вид, что ищут новые подземные ходы для связи с внешним миром (хотя, чем плох тот, что знает Биец?), а на деле — просто ползают по таким грязным закоулкам, куда даже крысы не заглядывают; и по многим другим малозаметным и вовсе не заметным, но откладывающимся в подсознании подробностям. В такой ситуации излишняя активность была не нужна и даже опасна — за экстремизм могли и из БД попереть, а значит, и нужда в людях стала меньше. Так что, временный уход Кости не выглядел дезертирством, тем более, что Эллин оставил Бийцу теткин телефон.

Но Миша Голицын на следующий день обнаружил исчезновение части парткассы и, ориентируясь на опыт общения с люмпен-пролетарками, мигом связал оное исчезновение с уходом Эллина. Биец возразил было, что в подобных случаях телефона не оставляют, однако Миша позвонил по оставленному номеру и услышал, что Кости нет, где он — неизвестно, и когда будет — тоже. Биец заметил, что Эллин мог бы их обокрасть уже давно и что впечатление проходимца он не производит. На это Миша ответил, что Эллин и на него произвел хорошее впечатление, и, видимо, речь идет вовсе не о краже, а об экспроприации, видимо, Биец так достал Эллина своими троцкистскими телегами, что тот потерял к нему всякое уважение и свалил, прихватив деньги, дабы пустить их на более нужное дело, нежели троцкистская пропаганда. Такого оскорбления Биец стерпеть не мог и велел лучше искать пропавшие финансы, да и сам начал их разыскивать с удвоенной энергией. В конце концов, недостающую часть кассы нашли — она лежала на столе под газетой, на которую складывались бычки, сохраняемые на самокрутки, и никто эту газету просто не догадывался поднять. Авторитет троцкизма был восстановлен.

\* \* \*

Тамара уже утром, оказавшись на работе, решила, что такое событие, как возвращение Кости, просто необходимо отметить. А тут еще в разговоре вспомнили, что в Крыму сейчас бархатный сезон, и Тамара затосковала. В прежние времена она каждый год отправлялась на юга, правда, не осенью, а летом, когда дочку можно было отправить в пионерлагерь. Конечно, удовольствие это было дорогое, не для Тамариной зарплаты, даже с учетом ее ударного труда, тем более, что ей надо было еще и дочку растить одной без мужа. Но тамарины поездки на юг, как правило, окупались, если не полностью, так частично, поскольку Тамара практически всегда находила себе на югах мужика, который ее кормил-поил, да еще обычно и обратный билет ей покупал на свои деньги, а однажды даже умудрилась поехать уже с кавалером, так что тот ее и туда свозил, и обратно привез. Правда, нет правил без исключений — как-то в начале восьмидесятых Тамаре не повезло, и она почти за целый месяц так никого себе и не нашла. То есть, мужиков вокруг нее было, конечно, полно, да только не было среди них такого, который бы Тамару устроил. Но такое вышло только раз, а обычно все было нормально. Да и от московских кавалеров ей тоже что-то перепало. Так что, позволить

себе ежегодный отпуск на берегах Черного моря Тамара вполне могла.

Теперь это все было в прошлом. Во-первых, хуже пошли дела с мужиками. Уже в восемьдесят девятом Тамара в Москве почти полгода не могла себе найти подходящего кавалера. А в девяностом на югах она подцепила какого-то мужика, который, хоть и прибыл с Севера, но уже успел порядочно поистратиться, так что за полторы недели он, угощая Тамару, прогулял с ней все, что у него еще оставалось. После этого Тамара, считавшая недостойным бросать кавалера из-за такого пустяка, как полное отсутствие денег, начала тратить свои и, в итоге, тоже осталась без копейки. Северянин, сперва возмущавшийся тамариным поведением и кричавший, что его никогда еще баба не содержала, к этому времени смирился и нашел какого-то знакомого спекулянта, которому Тамара загнала кольцо, подаренное кем-то из ее прошлых ухажеров. Денег хватило не только Тамаре на обратную дорогу, но и мужику на билет до какой-то сибирской станции, о которой Тамара и слышать-то никогда не слыхала, поняла только, что это — где-то в Тюменской области. Это был, кажется, первый случай, когда общение с противоположным полом принесло Тамаре не прибыль, а убыток.

Ну, а, во-вторых, с тех пор как в девяносто втором «отпустили» цены, не то что куда-то поехать, жить не на что стало. А там еще и работы стало меньше, а значит, — и зарплаты.

Тамару выручал ее золотой запас, заменивший ей сберкнижку. Пожалуй, он был даже лучше сберкнижки, потому как вклады обесценивались вместе с деньгами, а золото — нет. Со временем он, правда, иссякал, но уж на одну поездку, по тамариным расчетам, должно было хватить. Правда, что Тамара, что Костя свои отпуска уже отгуляли, но работы все равно было мало, можно было взять за свой счет. О том, что будет потом, Тамара не задумывалась — она вообще не любила думать о будущем, предпочитая жить настоящим. Факт поездки на юга не за счет кавалера, а за счет дамы ее нисколько не смущал. Но смущало другое. Тамара чувствовала, что, пока эта заваруха не кончится, Костя никуда не поедет, даже если сам больше и не ввяжется (что, впрочем, тоже было весьма сомнительным).

В конце концов, Тамара решила не мучиться, про юга пока забыть и просто раскошелиться на бутылку вина — не водки, не портвейна, а именно хорошего вина — и каких-нибудь яблок. Что ни говори — вино и фрукты. Скромно и со вкусом.

Как обычно в последнее время, в пятницу работы было совсем мало, и уже в три Тамару отпустили домой. Она решила воспользоваться случаем и, добравшись до Преображенки, побежала по магазинам.

В винном очередь была приличная, но двигалась довольно быстро. Тамара заняла за какой-то насквозь проспиритованной старухой, а за ней занял мужик лет тридцати с фигурой гориллы — крупный, коротконогий и чуть-чуть сутулый. Физиономией мужик напоминал дагестанского абрека, только без бороды (правда, волосы у него были светлые, но среди дагестанцев тоже иной раз попадаются блондины), однако Тамара сразу поняла, что он — обычный русак, хоть и с примесью какой-то восточной крови. Заняв очередь, он сразу же попытался завести с Тамарой разговор, из которого та поняла, что мужика зовут Рома, и что он разведен и живет один; ну а остальное она поняла благодаря своему опыту. Ясно было, что Роме в данный момент не хватает бабы, и что вообще постоянной бабы у него нет, а со временными он знакомится таким вот образом, как сейчас с Тамарой. И еще она поняла, что, хотя Рома явно неглуп, но круг интересов его — весьма узок, что сережки или кольцо он не подарит — не тот размах, но стакан всегда нальет и что как любовник он, может, и темпераментен, но довольно примитивен. В общем, в другой ситуации Тамара, скорей

всего, решила бы, что сойдет на безрыбье, но сейчас у нее был Костя; и хотя Тамара не считала криминалом утром переспать с одним мужиком, а вечером — с другим, по отношению к Косте такой поступок показался ей явным свинством. Пожалуй, это был первый подобный случай в ее практике. Поэтому она, хоть и вступила в разговор с Ромой и держалась, как всегда, довольно свободно, но при этом давала понять, что Роме на нее никаких видов иметь не стоит.

Рома, однако, упрямо не терял надежды и продолжал вести непринужденный разговор. Говорил он о том, о сем, понемногу обо всем и, в конце концов, дошел и до ситуации с Белым домом. По Роме, выходило, что Ельцин — конечно, дерьмо, но только Верховный Совет — еще хуже, потому что им руководит Хасбулатов, а Хасбулатов — чеченец, а все чеченцы — звери и сволочи, и убивать их надо без различия пола и возраста. Голос Ромы при этом гремел так, что его слышала не только вся очередь, но, пожалуй, и прохожие за стенами магазина. Может, Тамара дипломатично и промолчала бы в ответ, но тут собеседник сам спросил ее мнение насчет чеченцев, так что отвертеться было невозможно.

— А чо, — сказала Тамара, — я чеченцев не знаю, я с ними не е...лась. С грузинами вот е...лась, с армянами. С кабардинцем е...лась, было дело. Счас вот с греком е...усь, наполовину, правда. А с чеченцами вот не приходилось. Если б помоложе была, можно было бы записаться в защитницы к Хасбулатову, а терь уж не возьмет — старая.

Очередь грохнула со смеху. Кто-то крикнул, что Хасбулатов возьмет-возьмет, никуда не денется. Старуха-алкашка поинтересовалась у Тамары, как это «наполовину», не на всю длину засовывая, что ли?

— Да не е...усь наполовину, а грек он — наполовину, — пояснила Тамара под хохот аудитории.

Рома резко помрачнел. Какой-то дед лет шестидесяти из середины очереди проворчал, что вот мол, за них же сволочей люди воюют, а они...

— Ага, — отпарировала Тамара, — за нас, как же! Как собаки за кость! У меня три раза было, когда я видела, что мужики дерутся, и думала, что это они из-за меня. А потом каждый раз оказывалось, что не из-за меня, а из-за моей пи...ды. Правда, я для них всех из одной пи...ды и состояла, так что им никакой разницы не было.

— А ты из одной пи...ды и состоишь, — угрюмо заявил Рома, явно недовольный то ли тамариным интернационализмом, то ли тем, что ему предпочли Хасбулатова.

— Для вас кобелей, конечно, — согласилась Тамара. — Только ты не больно-то нос задирай! Ты для этих, которые счас грызутся, тоже из одной ж...пы состоишь, они за то и грызутся, кому тебя в эту ж...пу е...ать.

Обстановка резко накалилась. Рома со словами: «Ах ты, б...дь старая», — схватил Тамару за волосы и замахнулся кулаком. Тамара, вспомнив молодость, привычным движением увернулась от удара и вцепилась Роме в физиономию. На руке у Ромы с криком: «Я те покажу, сволочь, привык дома жену бить!» — повисла проспиртованная бабка. Старик из середины очереди рванулся вперед с явным намерением принять участие в потасовке. Но тут продавщица заорала: «А ну, прекратите драку, а то товар отпускать перестану!», и очередь возмущенно загудела. Рому оттащили. На Тамару тоже зашикали, мол, думай, что говоришь, если даже мужик — дурак, зачем его так оскорблять? Тем временем подошла ее очередь, и она со словами: «А чо я, это он на меня полез, очень смелый, наверно», — полезла за деньгами.

— А ему ты не продавай, — сказала она продавщице, получив вино и сдачу, — пусть сперва перед тобой извинится, что с бабой драку затеял. И обернувшись к Роме, предложила:

— Ты пойдти Хасбулатова за волосы похватай, если ты — такой смелый! Он тебе живо ноги вытянет, до нормальной длины...

\* \* \*

Второго ровно в двенадцать на Смоленской площади началось сразу два митинга в поддержку Совета. Возле МИДа митинговало сотни три трудороссов во главе с Анпиловым. Неподалеку в сквере — человек шестьсот-семьсот во главе с Крючковым.

Через час сквер оцепило две сотни омонцовцев. Вместо того чтобы бить собравшихся, как они это делали обычно, омонцовцы выстроились в цепочку и, не обращая внимания на крики «Позор!», щитами вытеснили народ к набережной и через мост аж до Киевского вокзала. Оставив толпу митинговать на вокзале, омонцовцы повернули и ушли. Вскоре разошлись и митингующие, благо, еще на Смоленке они успели за час и нашуметься, и даже принять резолюцию.

\* \* \*

После всего того, что Костя увидел в БД, нормальный человек на все бы плюнул и забыл бы об этом дурацком театре. Но Костя был человек упрямый — упрямство передалось ему от его красного прадеда, обладавшего железным здоровьем и не менее железным характером. Необычайное упрямство прадед передал и своей дочери — костиной бабке, и самому Косте. Костиной матери оно тоже досталось, но не в полной мере — иногда она была вполне покладистой, а иногда упиралась так, что разве только ее дед и мог бы ее переспорить. Сам покойник был так уперт, что, отсидев в лагерях безвылазно с сорокового по пятьдесят третий, остался правоверным сталинистом и до последних дней (а он прожил долгую жизнь — с тысяча девятисотого по восемьдесят шестой) утверждал, будто финская война на самом деле была гражданской войной в Финляндии, а Советский союз просто помогал «красным финнам». Правда, Берию прадед (как, впрочем, и многие сталинисты) терпеть не мог и твердо верил, что без вмешательства последнего Иосиф Виссарионович прожил бы, по крайней мере, лет на десять дольше.

Кроме упрямства прадед привил Косте еще одну особенность — терпимое отношение к сталинистам — на его примере Костя убедился, что среди последних могут быть люди вполне нормальные во всем, что не касается непосредственно имени Сталина. Сочетание этих качеств привело Эллина второго октября на стык Садового кольца и Арбата.

На Садовом митинговали трудороссы. Их собралась уже порядочная толпа. Неподалеку выстроилось с полсотни спецназовцев в черных беретах — подобного добра теперь всегда было полно там, где собирались трудороссы. Потом вдруг все как-то резко изменилось. Толпа дрогнула, подалась в сторону Арбата и побежала, увлекая за собой Костю, а сзади на нее мощной волной накатывался спецназ. Дубася людей своими мастурбаторами, стражи порядка загнали толпу на Арбат, попутно сбив с ног, или, вернее, с костылей и насмерть затоптав ботинками какого-то пожилого бедолагу-инвалида, невесть зачем притащившегося на митинг.

Спасаясь от дубинок, трудороссы полезли на только что построенную сцену, сооруженную для празднования пятисотлетия Арбата. Спецназ рванул за ними, и тут ситуация снова резко изменилась. Костя вдруг заметил, что народ больше не убегает, и, оглянувшись, увидел, что спецназовцы лезут на сцену, а трудороссы отбиваются от них палками и кусками арматуры, то ли припасенными заранее, то

ли подобранными тут же на сцене. Драка была жестокой и короткой — спецназ отступил, оставив сцену за трудороссами. Через минуту атакующие появились вновь. Теперь в руках у них были не только дубинки, но и щиты, на головах — шлемы.

Костя понял, что в этот раз арматурой не отбиться, и, как теперь быть, он не знал. Но знал кто-то другой — из толпы в сторону спецназа вылетел камень. Костя тоже кинул в наступающих кусок кирпича, но сей снаряд плюхнулся сразу же за сценой. Странное дело — Костя мог палку или бутылку забросить хоть к чорту на рога и плоским камешком «испечь» на воде не один и не два-три, а пять-семь «блинов», а вот нормально бросить обычный бульник ему было не под силу. Поэтому, если от костиного кирпича и была какая польза, так только в том, что он окончательно разрешил вопрос: «Что делать?» — целая туча камней полетела в спецназовцев. Потерпев фиаско с камнем, Костя поискал глазами какую-нибудь палку. Палки он не нашел, зато обнаружил нечто более ценное — четвертьлитровую пивную бутылку. Брошенная Костей бутылка пролетела над большей частью спецназовцев и разбилась о чей-то шлем в последнем ряду. После второго залпа мозги костоломов заработали лучше, и в третий раз град камней и железяк обрушился уже на отступающих. Костя успел засветить в чей-то щит куском арматуры длиной с ладонь и толщиной в палец и поднять с помоста еще одну бутылку — на сей раз из под водки. К этому времени спецназовцы отошли так далеко, что забрасывать их не имело смысла.

Однако народ уже разошелся и не мог остановиться. Толпа хлынула на Садовое, прихватив с собой доски со сцены, заборы с другихстроек и даже прилавки из ремонтируемого по соседству магазина. Костя, сунув бутылку в карман — на всякий пожарный, тоже приволок какую-то урну. Несмотря на стихийность, народ действовал на удивление слаженно. Мгновенно движение на кольце было перекрыто. Поперек улицы выросли две баррикады из дерева, железа и автомобильных покрышек. Потом трудороссам этого показалось мало, и они увеличили свою территорию, соорудив еще один вал. В искусстве фортификации здешние повстанцы превзошли защитников БД — баррикады возвышались над дорогой метра на два.

Но, видимо, кому-то и это показалось недостаточным. И тогда сразу в нескольких местах баррикады были подожжены. Запылали деревянные ящики из под овощей, на которых обычно сидят торговцы на рынках; завоняли, коптя черным дымом, резиновые шины. Между двумя огненными стенами, как черти с кочергами, бесновались злые пролетарии с кусками арматуры.

К месту стычки прикатило на автобусах по несколько сотен обычных ментов и омонцев да штук шесть пожарок с водометами, но баррикады никто не атаковал. Менты и ОМОН оцепили с трех сторон территорию, занятую трудороссами, и блеск огня отражался в их щитах. Десяток подъехавших карет «Скорой» стоял без дела. Снаружи трудороссы пробирались к своим через метро и дворами.

Активность обороняющихся, впрочем, тоже потихоньку начала спадать. Было ясно, что выбить их с баррикады — дело непростое, но и нарываться на драку с прекрасно экипированным противником, имея в лучшем случае двукратный, а в худшем — полуторократный перевес, да еще, когда у противника несколько пожарных машин, было бы просто безумием. К тому же мирное поведение милиции и ОМОНа расслабляло. Трудороссы спокойно расхаживали по «освобожденной территории», небрежно помахивая своими железяками.

От огня становилось жарко, и Костя вдруг заметил, что погода — уже совсем не та, что была неделю назад, когда люди мокли и ежились у костров возле БД. Нет, погода теперь стояла прекрасная, да и, вообще, многое изменилось за то время, пока Эллин ползал, как крот, по подземелью. Люди как

будто распрямились, стали крепче, увереннее. «Бросайте больше ящиков и досок в костер! — говорил кто-то за спиной Эллина. — Это пламя видят депутаты из окон осажденного Верховного Совета». И даже в этой глупой вере в тех, кто уже давно продал своих почитателей, было что-то возвышенно-романтическое.

Со сцены, с той самой сцены, на которой началась драка, и которая, в итоге, оказалась внутри оцепления, хоть ее и не прикрывали баррикады, выступали вожди. ОМОН их не трогал. Анпилов с Маляровым сменялись изредка кем-то еще, а по большей части — друг другом. Человек двести, вылезшие из-за баррикад и слушавшие выступающих, время от времени скандировали: «ОМОН — домой!» Оставшиеся на баррикадах ждали дальнейшего развития событий. Какой-то довольный тип успокаивал Игоря Донского: «Да ты не огорчайся, пойми — создавать приятнее, чем разрушать! Будьте вы с русским народом! Ну что вам эта с...аная Америка?!»

\* \* \*

В самый разгар драки на Арбате к одному из буржуйских магазинов, которых на Арбате уже тогда было полным-полно, подкатила «тачка», и из нее вылезла чета «новых русских». Пара направлялась в магазин, но не успела она пройти и полпути, как подскочили спецназовцы и начали охаживать незадачливых покупателей, загоняя их обратно в машину.

- Вы что? — закричали бедолаги. — Мы — за Ельцина!

- А мы — против! — отвечали спецназовцы, орудуя дубинками.

\* \* \*

Петя Рябов, придя на Смоленскую, забыл, кто он такой, и принялся помогать сооружать баррикады. Подоспевшие Трусевич, Майсурян и Лозован вытряхнули у него из карманов камни, надели на петину руку повязку с красным крестом и утащили Рябова к киоску, над которым развевалось белое краснокрестное знамя.

Кроме знамени у дружины поначалу не было ничего из того, что полагается иметь санитарному отряду, но этот огрех быстро исправлялся. Трудороссы, стоявшие поближе к медпункту, уже передавали на него медикаменты и деньги. Отправленный в экспедицию по аптекам Лозован притащил бинты, вату и спирт. Дружинники развели костер и на всякий пожарный изучали пути отхода.

Майсурян сбегал за оцепление к машинам Скорой, чтобы договориться о совместных действиях, но, подойдя к машинам, увидел в них ментов в белых халатах поверх формы. Менты, впрочем, пообещали Майсуряну в случае кровопускания помогать всем раненым без разбора.

По счастью, Майсуряну не пришлось проверить правдивость ментовского обещания. В этот вечер сандружинникам довелось лицезреть лишь двух пациентов: один рассадил себе руку при строительстве баррикады, другой просто оказался в задницу пьян. К слову сказать, это был единственный пьяный в тот день и в том месте.

\* \* \*

Косте скоро наскучило слушать вождей, призывающих в основном трудороссов «стоять до конца», а омоновцев — уезжать домой, потому как у москвичей «со своей милицией хорошие отношения» (последнего убеждения Костя, кстати, не разделял). Народу набралось уже тысячи полторы, но

особой активности он теперь не проявлял, только некоторые из слушателей скандировали: «ОМОН — на картошку!» На лицах собравшихся была написана мрачная решимость «стоять до конца», но осаждающие никаких активных действий не предпринимали, проявлять собственную инициативу, когда рядом вожди, было как-то не с руки, а вожди никаких указаний не давали и только полоскали мозги. Подумав, Эллин решил зря время не терять, попытаться пока найти кого-нибудь из знакомых — может Шишигу, а может — кого из бийцевиков. Он пошел вдоль дороги — от одной баррикады к другой и вдруг носом к носу столкнулся с Маркеловым.

— Привет! — сказал Эллин. — Ты тут сам по себе, или записан куда?

— Да я тут в сандружине, — отвечал Стас, демонстрируя нарукавную повязку, на которую Костя на радостях не обратил внимания. — Мы раненых перевязываем.

— Да? — удивился Эллин. — и много перевязали?

— Да пока, к счастью, только одного.

— А вас самих сколько?

— Не знаю, — сказал Стас, — я сам только что вступил. Человек десять примерно. Вот мы — все здесь, — он показал на небольшую группу, жгущую отдельный костер возле киоска. На киоске было укреплено белое знамя с красным крестом.

— Многовато для одного раненого! — усмехнулся Эллин.

— Мы ж точно не знали, сколько их будет. А потом, как бы, не в этом дело. Мы — вроде как, и сами по себе, и хорошее дело делаем.

— Понятно, — сказал Эллин. — У вас там все — левые социал-демократы?

— Да нет, — пояснил Маркелов, — из ЛСД — один только я. Я ж говорю, я только вступил. А так тут все есть: анархисты, народники, комсомольцы...

— Анархисты? — удивился Костя. — Я видел одного анархиста у Белого дома. Только он теперь сидит — порезал баркашевца.

— Уже не сидит, — заметил невысокий носатый сандружинник, смахивающий на молдаванина. — Его вытащили.

— Как смогли? — удивился Костя.

Носатый пожал плечами:

— Не знаю. Удалось как-то.

— А троцкистов у вас нету? — поинтересовался Эллин.

— Нет, — ответил носатый. — А ты что, троцкист?

— Да нет, — сказал Костя, — просто я тут пару раз пробирался с троцкистами в Белый дом. А так я — сам по себе, пока не нашел, куда приткнуться.

— Притыкайся к нам! — предложил носатый и повернулся к Маркелову:

— Как, можно его взять?

\* \* \*

К вечеру напряжение на Смоленке стало спадать. Часов в пять или в начале шестого со сцены-трибуны кто-то радостно объявил: «Достигнута договоренность: бандитов в черных беретах, которые начали драку, уведут, а мы сдадим председателю Моссовета Гончару двенадцать бутылок с горючей смесью». Трудороссы встретили сообщение без особого энтузиазма. Вскоре исчез Анпилов, успев получить от кого-то из выступавших поздравление с днем рождения. Выступавший теперь больше всех Маляров призывал то вступать «в постоянно действующие организации» — «ТрудРоссию», ФНС, российский комсомол и прочие, то «завтра прийти пораньше на Вече и приступить к решительным действиям», то, вдруг вспомнив, что сцена не прикрыта, приказал строить еще одну баррикаду...

Где-то без двадцати восемь депутат Уражцев сообщил, что удалось договориться с начальником оцепления полковником Фекличевым — до девяти демонстрантов никто не тронет, а после всем им надлежит разойтись. Народ завозмущался, раздались крики: «Пусть уйдет ОМОН, тогда и мы уйдем!», «Не уходить, стоять до конца!», но чувствовалось, что, как говаривал Горби, «процесс пошел». Митинг как-то сам собой прекратился, Уражцев, Маляров и другие уговаривали народ разойтись после девяти, приводя все больше один, зато весьма логичный довод — все равно останутся не все, а только самые стойкие, их-то ночью и перебьют.

В девять большая часть митингующих выстроилась в колонну с Константиновым во главе и ушла по Арбату. Маляров с несколькими комсомольцами постепенно уговорили разойтись остальных.

\* \* \*

Вернувшись к Тамаре, Костя вдруг вспомнил, что он уже недели две не навещался и не звонил в Люберцы. «Надо б звякнуть, — решил Эллин, — а то подумают невесть что — в такое-то время».

Набрав номер, Эллин услышал гудки, а затем — голос брата.

— Алло, привет, Витек! — сказал Эллин. — Это я — Костя.

— Привет! — отвечал брат. — Как там у тебя?

— Нормально, — успокоил Костя. — Я собственно для того и звоню, чтоб сказать, что у меня — все нормально. Я, правда, сейчас не у тети Веры, а у... — Костя на секунду замялся, — у подруги, так что мне звонить не надо, я сам буду звонить.

— У Ксении, что ли? — поинтересовался брат.

— Нет, — ответил Костя. — У другой.

— Понятно... — протянул брат. — Как ее зовут-то?

— Кого? — не понял Костя.

— Ну подругу.

— Тамара, — ответил Костя.

— Грузинка?

— Нет, русская, из подмосковной деревни.

— Понятно... — снова протянул брат.

Косте братова интонация не понравилась. «Совсем обнаглел братец! — подумал он. — И вопросы какие-то дурацкие задает. Приеду, надо будет дать подзатыльник».

— Что тебе понятно? — недовольно спросил он в трубку.

— Да так... — брат хмыкнул. — Видели мы тут тебя по ящику с твоей подругой.

— Что за чушь? — удивился Костя. — Не могли меня показать с Тамарой!

— Видели-видели! — усмехнулся брат. — Ты прям, как в песне: «Только шашка казаку во степи подруга!» Твоя, значит, подруга — боевая бутылка?

— Приеду — получишь по мозгам! — разозлился Эллин. — Что, если я живу у подруги, я не могу оказаться на улице с бутылкой в руке?

— Ладно, не злись! Ты, значит, теперь — защитник Белого дома?

— Нет, я с ними был временно. А вообще я — сам по себе.

— Как батька Махно?

— Пожалуй.

— Понятно, — брат снова усмехнулся. — Ну ладно, только смотри! Знаешь, как кончил батька Махно?

— Знаю, — ответил Костя. — Он получил четырнадцать ран, ушел за границу, оклемался, но к тому времени его людей задавили, и он так и не смог вернуться. Умер в Париже, похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Брат на другом конце аж присвистнул.

— Откуда ты все это знаешь?

«От верблюда!» — хотел, было, ответить Костя, но ему это показалось невежливым по отношению к Трофименко, и он просто ответил:

— От одного анархиста. Он был у Белого дома. Между прочим — ксеньин брат.

— Там что и анархисты есть? — удивился Витек. — Или они тоже — как батька Махно?

— Тоже, — лаконично ответил Костя. — Кроме тебя там есть кто-нибудь?

Дома, несмотря на субботу и поздний час, никого больше не оказалось — мать задерживалась на дежурстве, и отчим пошел ее встречать. Костя решил заканчивать разговор.

— Я позвоню на днях, — заверил он на прощанье. — Завтра или послезавтра.

И не втягиваясь в дальнейшую беседу, повесил трубку.

\* \* \*

Мохов ко второму был здоров как бык, и, не будь второе субботой, его бы точно выписали. Но в выходные обычно никого не выписывают, так что выписка была назначена на понедельник, и Мохову оставалось только ждать. Это было непросто, особенно когда Мохов из разговоров своих соседей понял, что в центре уже начались баррикадные бои; но выхода не было.

\* \* \*

Положив трубку, Эллин на минуту задумался, глядя в черный прямоугольник окна. Тамара подошла к Косте сзади и обняла его за шею.

— Ну, — спросила она, — куда завтра пойдешь?

— Завтра я с сандружиной пойду, — ответил Костя. — Раненых подбирать.

— А много там раненых? — заинтересовалась Тамара.

— Пока был только один. Но если так дальше пойдет, то скоро будет больше. Странно, что уже сегодня больше не было.

— Слушай, — спросила Тамара, — а чья это сандружина?

— Ничья, — ответил Костя. — Мы — сами по себе. Просто будем помогать всем пострадавшим. Хоть от тех, хоть от тех.

— Да, за это вам медалей не дадут, — усмехнулась Тамара. — Ладно, не дуйся, ты же знаешь, что ты мне нужен безо всякой медали! Много вас там?

— Человек десять.

— А-а, десять тех, что должны быть первыми!

Костя промолчал. Тамара чмокнула его в щеку.

— Не сердись! Мне даже нравится, что ты такой. Знаешь, у нас в деревне был мужик один, на тебя похожий — Иван Смени ногу. Ему раз говорят: «Иван! Ты, наверное, в армии всегда не в ногу ходил!» А он и отвечает: «Нет, ходил я в ногу, но когда нужно было сменить ногу, я это первый делал». С тех пор его так и прозвали. Не любили его многие, здорово не любили, но зато уважали. Даже те, кто не любил, все равно уважали. — Тамара засмеялась. — И тоже, как ты, был вояка. И в гражданскую успел повоевать, и в Отечественную ушел добровольцем. А дед у него еще с декабристами на площадь выходил. Он сам, дед-то, простой солдат был, ему сказали, что службу вдвое сократят (а тогда двадцать пять лет служили), он и вышел.

— Знаю, — усмехнулся Костя, — «За императора Константина и его жену Конституцию!» — и вдруг переспросил. — Погоди, если его деду было тогда хотя бы двадцать, то сколько ж ему было? Ну, когда ты его видела. Лет сто что ли?

— Зачем сто? — удивилась Тамара. — Он в шестьдесят третьем только пенсию стал получать. Просто у него с дедом — в сто лет разница. Отцу было пятьдесят, когда он родился, и деду — пятьдесят, когда родился отец. А что, раньше ведь мужики запросто в пятьдесят лет отцами становились, и бабы в сорок рожали. Это теперь в тридцать пять — уже поздно считается. Хочешь — от тебя рожу? А что, мне алиментов не надо, мне мужики столько всего надарили — как раз хватит!

— Эт что же, — рассмеялся Костя, — выходит ребенок будет от одного, а алименты — от другого?

— А какая разница? А если б я от них залетела? Я что, не рисковала? Ты думаешь, почему бабы с мужиков деньги берут, а не наоборот? То есть, конечно, бывает и наоборот, но чаще — бабы. Потому что бабы залетают, а мужикам — по фигуре. Я, кстати, никогда специально не просила, если что дарили — брала, деньги тоже брала, если давали, но этого я не любила. Это на меня как-то Семеновна наехала (ты ее не знаешь, она лет пять, как уволилась), ты мол — такая-сякая, проститутка, б...дь! А я ей говорю: «Ты сама своего мужа ни хрена не любишь, ты за него вышла, чтобы было, кому детей кормить, значит, ты за него из-за денег вышла, значит ты сама — такая же проститутка, и нечего на меня бочки катить! А что я — еще и б...дь, так это — мое личное дело». Правильно я говорю?

\* \* \*

Промучившись весь вечер, Мохов не выдержал и ночью выбрался через окно, да как был — в пижаме и шлепанцах, рванул домой, благо, от больницы до дома ему было рукой подать. Дважды он чуть не нарвался на ментов, и ему пришлось залезать в кустах у дороги. В четыре утра с копейками Мохов, стучащий зубами от холода, ввалился домой, до предела удивив мать, которая хоть и знала о политических взглядах сына (да, кстати, и сама состояла в РКРП), однако ж, никак не ожидала от него такой прыти.

\* \* \*

Дамье утром третьего успел побывать на втором уже собрании под названием «Интеллигенция в защиту демократии против авторитаризма», проходившем на Тверской в Музее восковых фигур. Там Дамье попытался убедить собравшихся, что защитникам БД нужно порвать с баркашами и отказаться от их помощи. «Они же вас же дискредитируют, — объяснял Дамье. — Вы, вроде как, демократию защищаете, выступаете на стороне парламента, и вдруг у вас там ходят люди со свастикой...»

На интеллигентов речь Дамье не возымела действия. «Нам нужно национальное единство», — заявили они. «Русское?» — поинтересовался Дамье. «Русское», — отвечали интеллигенты. Дамье пожал плечами.

\* \* \*

Эллин выбрался из тамариной квартиры в без пяти одиннадцать. На этот раз Погудина не только не пыталась его отговорить, но и по просьбе Кости выделила ему бинт и несколько пачек ваты, которой у нее, как у всякой нормальной женщины, было полно, потому что о тампаках тогда еще не слышали. Сверх того Тамара презентовала Косте десятка два упакованных в полиэтиленовые пакеты свежеприготовленных оладьев (пояснив, что это — лучше любых бутербродов и котлет — и сытно, и не портится) и чудовищных размеров скальпель в кожаном чехле — на всякий пожарный. Лезвие у скальпеля было никак не меньше десяти сантиметров, и ручка — соответствующая, так что Эллин еле запихнул его в карман. Скальпель лет двадцать назад свистнула из какой-то больницы тамарина подруга — медичка; точнее, свистнула она два скальпеля: один — для себя, другой — для Тамары, потому что, если каждому давать, то сломается кровать, а некоторые мужики этого не понимают.

— Ты только не пропадай! — попросила Тамара на прощанье. — Если вечером не придешь — позвони. А то опять пропадешь на неделю, а я буду думать, то ли с тобой чо случилось, то ли ты себе молодую б...дь нашел. Они, санитарки, знаешь какие бывают!

— Знаю, — ответил Эллин, — у самого мать в больнице работает. Так что, не надо лапшу на уши

вешать. Обычные женщины, не лучше других и не хуже.

— А хоть бы и обычные, — не унималась Тамара. — Обычные тоже разные бывают. Потом они — молодые, а я — старая — сиськи до п...ды висят. Ты смотри, молодая тебе оладьев не напечет!

Костя понял, что Тамара дурачится, но времени на шутки у него уже не было, поэтому он пообещал не пропадать, рассовал по карманам куртки скальпель, еду, бинты и вату, так что карманы раздуло, будто морской спасжилет, и, расцеловавшись на прощание с Тамарой, вышел на улицу.

\* \* \*

Петя Рябов со свернутым флагом выходил из метро, когда к нему подошел какой-то средних лет человек, довольно интеллигентной внешности и похвалил:

— Молодец! За свое будущее надо бороться!

— Да мы, вообще-то, не боремся, — смутился Рябов, — мы раненых перевязываем.

— Ничего-ничего, — успокоил собеседник, — методы могут быть разные, но цель у нас — одна.

И помолчав, добавил:

— Жидов извести.

\* \* \*

Демонстрация оппозиции планировалась на Советской площади — напротив Моссовета. Здесь поначалу и собирался народ. Но то ли слишком близко это было от БД или от Кремля, то ли еще что-то, только среди собравшихся пронесся слух, что демонстрация перенесена на Октябрьскую. Полоумные бабки, молодые парни из трудороссовской дружины, женщины с колясками (какого чорта они потащились с колясками на демонстрацию?) — все полезли в метро.

\* \* \*

ОМОН оцепил Октябрьскую площадь задолго до появления трудороссов. Перебравшиеся сюда с Советской со своим флагом волошинцы, старавшиеся держаться отдельно от демонстрантов, не могли найти, куда приткнуться — отовсюду гоняли. Пришлось подойти поближе к анпиловцам. Какая-то бабка долго смотрела на странный флаг и на краснокрестные повязки сандружинников, потом, наконец, подошла и спросила волошинцев, за кого они — за Совет или за Ельцина. «За раненых», — мрачно ответил Эллин.

За прошедшие неполные сутки ряды волошинцев значительно пополнились — кроме Стаса и Кости к ним присоединилась еще куча самого разного народа, начиная от комсомолки Ирки Федоровой, такой же толстой и веселой, как Тамара, только более курносой и не светло-золотистой, а русой, и кончая ДСовцем Гришей Воробьевым по прозвищу Нирмал. Появился даже какой-то ельцинист, разочаровавшийся в своем кумире. Самым ценным было то, что присоединилось несколько медиков — меморалец Тавризов, ушедший в свое время с четвертого курса мединститута, врач «Скорой» Володя Потапов и некий Андрей, фамилии которого никто не знал. Зато все знали, что Андрей приехал из Таджикистана, где ему все в том же качестве медика довелось принять участие в тамошних разборках, и откуда он только чудом выбрался живым и невредимым. Если других волошинцев омовские дубинки еще могли испугать, то Андрею они после таджикских пуль и

осколков казались детскими игрушками, а уж ран он насмотрелся таких, что волошинцам и не снились.

Теперь, благодаря Тавризову, Андрею и Потапову, сандружина стала более-менее оправдывать свое название. До сих пор единственными сандружинниками, имеющими какое-либо отношение к медицине, были Трусевич, окончившая медучилище, и Маркелов, изучавший у себя в университете судебную медицину.

\* \* \*

Трудороссовская колонна, освещенная не по-осеннему ярким солнцем, вышла на Октябрьскую со стороны Ленинского проспекта. Вышла и уперлась в стену ОМОНа, перекрывшую ей путь к центру. Колонна потыкалась в омоновские щиты и вдруг повернула налево, в сторону Крымского моста. Теперь она шла по Садовому кольцу, единственной широкой дороге, оставленной ей; и дорога эта то ли случайно, то ли по чьей-то провокации вела трудороссов к Белому дому.

Шаг за шагом колонна увеличивала скорость. Сумасшедшие бабки, которых и без того было не так уж и много, оказались в задних рядах, здоровые крепкие мужики — в передних. Колонна подошла к мосту, и здесь ей преградил путь омоновский заслон. Тонкая линия блестящих металлических щитов вытянулась поперек дороги, как гитарная струна. Неделю назад такой заслон остановил бы демонстрантов без особого труда. Но теперь ситуация изменилась. Многие из тех, кто шел сейчас в колонне, уже побывали под дубинками, многие участвовали в стычке на Смоленке. Люди потеряли страх и приобрели злость. Поэтому движение колонны, хоть и начало замедляться, однако не прекратилось совсем, и расстояние между демонстрантами и ОМОНОм все более сокращалось.

Омоновцы пустили на демонстрантов газ. У большинства трудороссов, естественно, никаких противогазов не было, но тут вмешалась природа — ветер разметал газовое облако и унес его вниз под мост. Теперь уже ничего не могло остановить столкновение. Омоновский офицер заорал в мегафон, требуя не нарушать порядок, и не доорал — струна натянулась под напором трудороссовской колонны и лопнула с печальным звоном, оборвав музыку офицерского ора.

\* \* \*

С пустыря возле Дома художника перебравшиеся туда сандружинники наблюдали за происходящим. Демонстранты подошли к мосту. Раздался резкий хлопок, над толпой появилось желтое облако, и те из сандружинников, у кого были противогазы, почувствовав неладное, начали их натягивать. Дамье замотал физиономию палестинским платком. Но облако газа, действительно появившееся, ушло куда-то под мост. А потом волошинцы увидели такое, что кое-кто даже протер глаза. С моста по ступеням, как куча старых железяк, как консервные банки, катились омоновцы в своих доспехах. А в реку, как осенние листья, падали, планируя и кружась на ветру, прямоугольные щиты. Прорвав заслон, трудороссовская колонна рванулась дальше и понеслась вперед по дефлорированной улице, сшибаясь с ОМОНОм и высекая искры, впервые за долгое время вылетающие из глаз у ментов, да так быстро, что сандружина едва успела пристроиться ей в хвост.

Тут же стали попадаться первые раненые. Сперва пришлось помочь трудороссовской бабке, помятой в давке, и мужику с разбитой головой (постарался омоновец). Потом появилось несколько человек, задыхавшихся на бегу — наглотались-таки газа. Маркелов привел в чувство майора-мента. Трусевич перевязала трудороссовской бабке рассеченную руку. По пути колонна смела еще несколько заслонов, и раненых прибавилось. Стали попадаться брошенные омоновские автобусы с выбитыми

стеклами, пустые; а затем и такие, в которых, дрожа от страха, сидели омовцы. Народ был уже достаточно зол и церемониться с ними не собирался. Пару раз Леонтьеву пришлось вмешаться, чтобы удержать людей от самосуда. Один раз волошинцы увидели, как выходящих из автобуса стражей порядка прикрывают дружинники «ТрудРоссии». Попадались пустые пожарные машины, возле них дорогу покрывали огромные пятна пены.

Внезапно из толпы, разрезая ее надвое, вылетел грузовик и пронесся мимо сандружинников, только чудом не сбив никого из них. Через минуту, протолкнувшись сквозь толпу, волошинцы увидели лежащего на земле мужика — на этот раз не с разбитой головой, а с раздавленными ногами. Потапов с Андреем попытались ему помочь и сделали все, что от них зависело; но все было напрасно — мужик умер, не придя в сознание. Это была первая смерть в этот день.

Пока добрались до Садового кольца, толпа уже изрядно оторвалась, видны были только отдельные догоняющие. Какие-то типы на кольце раздавали листовки. Волошинцы взяли несколько штук. Листовка оказалась почему-то на английском языке и начиналась словами «Папа, убей еврея!»

Как было прорвано оцепление у БД, никто из сандружинников не видел. Когда они подошли, народ уже обнимался и резал проволоку на мелкие куски, как берлинскую стену, на память. Милицейская шеренга осталась только со стороны мэрии, битком набитой ОМОНОм. Сандружина, по распоряжению Леонтьева, расположилась в самом конце Нового Арбата между массивным сталинским домом и автобусной остановкой, как раз напротив мэрии, отделенной от остановки проспектом.

Рябов с Тарасевичем отправились по квартирам с канистрой — просить воды. Дело это оказалось гиблое — жильцы боялись даже дверь приоткрыть. Ничего удивительного в этом не было — город, тем более такой огромный, как Москва, всегда был скопищем мошенников и грабителей, проявление нормальных человеческих чувств здесь нередко кончалось трагически, и некого было даже позвать на помощь в этом мире одиноких людей, отгороженных друг от друга каменными стенами. Поэтому бедные санитары обошли едва не весь дом, прежде чем какой-то старик, мывший во дворе машину, сжалился над ними и пустил их за водой в свою квартиру.

Едва водоносы вернулись на стоянку, как рядом началась стрельба. Потом говорили, что первые выстрелы были сделаны ОМОНОм с крыши мэрии, и первыми жертвами оказались два мента, убитые пулями в спину. Но тогда волошинцам было не до того, чтобы выяснять, кто первый начал. Оказалось, что их позиция выбрана глупейшим образом. К чести Леонтьева — это была его единственная ошибка за время руководства сандружиной.

Как бы то ни было, но сандружинникам пришлось перебраться за угол. Здесь уже после боя они красно-коричневой (!) краской написали: «медпункт» и намалевали крест. Эта надпись с крестом еще несколько лет была видна на торце дома, что стоит напротив мэрии; следы истории стерли только в девяносто седьмом, когда Москву вылизывали к празднованию ее восьмисотпятидесятилетия.

\* \* \*

Мэрию штурмовали офицеры и баркашевцы по личному приказу Руцкого. Некоторое время исход дела был непонятен — омовцы палили из окон, штурмующие — по окнам. И вдруг откуда-то выехал грузовик с автоматчиками — членами Союза офицеров и, подкатив к мэрии, протаранил стеклянные стены фойе.

\* \* \*

Волошинцы были буквально ошарашены, когда омоновцы, занимавшие мэрию, вдруг начали колотить дубинками по стеклам, а затем, разбив стену, всей оравой выскочили на улицу. Казалось, еще несколько секунд, и они начнут мутузить сандружинников, благо, дело привычное. Эллин и Нирмал даже схватились — один за тамарин скальпель, другой за валявшийся поблизости кирпич. Но грозные костоломы, выскочив из мэрии, просто разбежались кто куда, вульгарно спасая свои шкуры. При виде такого зрелища Костя с Нирмалом, забыв о своем нейтралитете, бросились к мэрии. Туда же рванулась было Федорова, но ее удержали, убедив в том, что даже для победы коммунизма она здесь нужнее.

\* \* \*

Репортеры с телекамерами подбежали к мэрии как только прекратилась стрельба из окон. Дело свое они знали, и самые колоритные моменты сохранились для истории. В один из объективов попал лежащий на асфальте мент, над которым склонилась Трусевич. Этот эпизод потом кому-то пришелся по вкусу, и его не раз и не два крутили по телевидению. Подобные кадры должны были свидетельствовать о жестокости «красно-коричневых», в этом свете их демонстрировали, в этом духе комментировали. Героем кадра стал лежащий ментяра. И ни в одном из комментариев не ставился вопрос и не давался ответ, кто же — та молодая женщина, перевязывающая поверженного стража порядка?

\* \* \*

Дима Стариков, ворвавшись в мэрию, первым делом направился в буфет, где отведал шампанского и бутербродов с колбасой и ветчиной. Продукция, что и говорить, оказалась первосортной — Стариков остался доволен. Это не было мародерством — старый ДСовец выпил и съел ровно столько, сколько требовал в данную минуту его организм, реализовав таким образом коммунистический принцип «каждому — по потребностям», хотя сам был, по сути дела, всего-навсего социал-демократом.

\* \* \*

Батон и Алик, пошастав по коридорам, заскочили в какую-то комнату, где Батон первым делом разворотил стоящий на столе компьютер и извлек из него модем, видеокарту и блоки оперативной памяти, а Алик тем временем пошарил по ящикам столов. Но как следует поживиться им не дали. В комнате появился мужик в строительной каске, вооруженный ножкой от стула, и спросил у пацанов, что они тут делают. Батон послал мужика по адресу, но и сам задерживаться не стал и выскочил из комнаты, прихватив с собой Алика. Пацаны наведались еще в пару комнат, но по коридорам уже бегали какие-то типы с автоматами, и, увидев, как эти типы заламывают кому-то руки и волокут его к выходу, Батон с Аликом быстро слиняли, решив, что от добра добра не ищут.

У выхода из мэрии они увидели автоматчиков, которые только что вытащили из здания высокого парня с длинными светлыми волосами, а теперь извинялись перед ним, объясняя, что они просто не разглядели его повязку, а иначе бы никто его пальцем не тронул, потому как к санитарам тут все относятся с уважением. Не желая связываться с автоматчиками, Батон и Алик покинули мэрию через разбитую омоновцами стеклянную стену. По дороге к ним прицепился какой-то тип с омоновским щитом и резиновой дубинкой в руках, но, услышав волшебное слово «санитары», оставил пацанов в покое.

\* \* \*

Когда все видимые раненые были перевязаны, и напряжение спало, волошинцы притащили к БД

складной столик и разложили на нем свой нехитрый набор лекарств. Похвастаться было особо нечем — сандружина делалась в основном в расчете на синяки и шишки, а не на пулевые раны. Мало кто мог предположить, что предстоит что-либо более серьезное, чем драка на Смоленке. Но дареному коню в зубы не смотрят, да, к тому же, на безрыбье, как известно, и рак становится рыбой. К столику постепенно начал сходиться народ.

Вскоре сандружина восстановила свою численность. Из мэрии, словно вражескими скальпами, радостно потрясая омоновскими беретами, прибежал Нирмал. Эллин вернулся без трофеев. Его не интересовали головные уборы.

\* \* \*

Во дворе за оставленной ОМОНОм мэрией штурмующие обнаружили брошенные стражами порядка автобусы. Разбежавшиеся омонovцы оставили на месте даже ключи зажигания, так что машины ничего не стоило завести. Потом, гораздо позже, говорили, что это было сделано специально, и спорили, было ли это провокацией, или среди омонovцев нашлись сочувствующие сторонникам БД. Тогда об этом никто не думал. Тогда победители радовались своим трофеям.

\* \* \*

Чулин — в черной рубашке, но без шеврона со свастикой подошел к столику с лекарствами. Его знобило.

— Простите, у вас случайно нет аспирина? — осведомился он.

— Вообще-то, это для раненых, — смутилась Трусевич, сидящая за столиком, — но если вам очень нужно...

— Спасибо! — поблагодарил Чулин, забирая аспирин. — У меня — как раз ножевая рана.

\* \* \*

Леонтьев, пробравшись к зданию БД, попросил объявить по репродуктору просьбу о наборе в сандружину врачей-добровольцев. Такие вскоре нашлись — две женщины-врачихи, одна из которых была фанатичной руцкисткой, а другая — трудоросской, и молодой трудоросс по фамилии Четвертов; Леонтьев всех троих отправил к медпункту. Мимо Леонтьева провели колонну солдат — не то пленных, не то перешедших на сторону ВС — говорили разное. Какие-то люди с автоматами в руках садились в грузовики и куда-то уезжали. Говорили, что в Останкино. В ликующей толпе Леонтьев заметил сандружинников Саню Соколова, Ника Шеронина и некого Хэда — все трое уезжали с грузовиками.

С несколькими санитарями и фельдшером Леонтьев прошел в мэрию. Здесь распоряжались какой-то генерал в черной форме и баркаши. Одному из них перевязали поврежденную голень. Где-то в коридорах промелькнул, как показалось Леонтьеву, Боря Эскин. Бой уже явно закончился, и делать в мэрии было особо нечего.

\* \* \*

Игорь Донской — высокий, костлявый, нескладный, в роговых очках молча смотрел, как грузился в автобусы народ, собравшийся брать Останкино. Человек десять или, может, пятнадцать, одетых в камуфляж, с автоматами в руках садились в грузовик. Это были члены Союза офицеров. Еще один

такой грузовик, крытый брезентом и с надписью «Люди», стоял рядом. Зато в брошенные ОМОНОм автобусы набиралась простая трудороссовская рать, отличавшаяся от офицеров по своему вооружению, как средневековая крестьянская пехота от рыцарской кавалерии. Тут не то что автоматами — и пистолетами не пахло. Оружием трудоросса служило какое-нибудь ударное орудие: толстый металлический прут, обрезок трубы, ножка от табуретки, а то — просто палка; часто это была ментовская дубинка, добытая при прорыве блокады или штурме мэрии, а иногда — и в более ранних схватках: 1-го мая или при прошлогодней осаде Останкино. У многих были ментовские щиты или каски, а у некоторых — и бронезилеты. Бутылок с бензином Донской не видел, но знал, что у кого-то они, видимо, есть, наверняка, есть! Кое у кого были сумки с противогазами. И еще кто-то, может быть, напихал себе в карманы камней или железяк. Автобусов, впрочем, на всех не хватало, и многие из трудороссов решили добираться до Останкино своим ходом.

Этим двум-трем десяткам автоматчиков и двум-трем тысячам мужиков с дубинами предстояло взять телецентр.

С военной точки зрения этот поход был абсолютно бессмысленным. Самым логичным в подобной ситуации было бы сперва вооружить народ, разоружив милицейские посты и отделения. Но это превратило бы толпу, «завязанную» на вождя, во множество более мелких, но и более организованных автономных групп. От любой такой группы из десяти или даже пяти человек, узнавших друг друга в совместных действиях, да к тому же еще и вооруженных, было бы больше толку, чем от сотни обычных трудороссов, неспособных в отсутствие Анпилова ни к каким организованным действиям. Но, вместе с тем, таким группам не нужен стал бы и сам Анпилов. Вернее, он был бы необходим, как знамя, но на деле члены групп подчинялись бы своим командирам, выбранным ими самими или выдвинувшимся стихийно в ходе боевых операций, а при необходимости объединиться выбирали бы старших командиров опять-таки из своей среды. Такие отряды были бы еще более неконтролируемы, чем дружина, командир которой Виктор Михалыч Петров мог при случае пойти и против воли Виктора Иваныча. Три года Анпилов создавал свою личную армию под названием «Трудовая Россия», и теперь совсем не хотел, чтобы она превратилась в лучшем случае в армию Петрова, а в худшем и вовсе — в армию какого-нибудь Иванова или Сидорова, которому вообще, может быть, наплевать на Анпилова. Разумеется, Виктор Иваныч был бы не против, если б Верховный Совет или Руцкой роздали его людям автоматы. Это бы только укрепило его авторитет. Но ни Руцкой, ни ВС не горели желанием укреплять авторитет Анпилова, приказать же трудороссам вооружаться самим означало подтолкнуть их к самоорганизации, к проявлению низовой инициативы, а самоорганизации и низовой инициативы Анпилов как любой бюрократ боялся пуще огня. Организованный народ был для него в сто раз страшнее правительственной армии.

Фактически трудороссы уже сделали для Анпилова все полезное, что только могли. Дальнейшая их активность могла ему только вредить. От трудороссов теперь требовалось бездействие, а не действие. Но заведенная толпа не могла сразу остановиться, как не может мгновенно затормозить разогнавшийся автомобиль. Армию нельзя было просто оставить митинговать у Белого дома, армия требовала для себя действия, ее надо было чем-то занять. И Анпилов занял ее походом на Останкино.

## ГЛАВА 6

\* \* \*

Сандружина имени Максимилиана Волошина редела. Петя Рябов ушел на работу — сторожить домишко на Большой Грузинской. Он бы наплевал на свое дежурство и даже на вылет с работы, но не мог подвести напарницу, которую должен был сменить. Дамье уехал домой, решив почему-то, что больше ничего особенного уже не случится, и окончательно разочаровавшись в защитниках БД. Возможно, его окончательно достал агрессивно-патриотический настрой повстанцев, ставший последней каплей, переполнившей чашу дамьевского терпения. Сам Дамье, кстати, был убежденным космополитом. Этому способствовало и его происхождение. Дамье по паспорту числился евреем, но по отцовской линии происходил не из ашкенази и не из сефардов, а из курляндских евреев, народа столь древнего, что на него не распространялась черта оседлости (ибо населял он Курляндию задолго до того, как прадеды Тевье-молочников и Бень Криков появились в Российской империи), и говорившего на чистом северонемецком языке, а не на каком-то там идише, но сейчас уже совершенно исчезнувшего, так что Вадим Дамье теперь оказывался последним его потомком или, во всяком случае, одним из последних. Трудно не стать космополитом, когда ты — последний из могикан, из удеге или из курляндских евреев. Как бы то ни было, но дружина осталась без Дамье. Потом выяснилось, что народ идет в Останкино, и Нирмал, отколовшись от дружины, полез в автобус с куском арматуры в руках, двумя бутылками в сумке и кучей камней в карманах. Как раз в тот момент, когда он принимал сие решение, Эллин слинял до ветру и только поэтому не пристал к Нирмалу. Сам по себе он ехать не захотел. Богатый опыт, приобретенный Костей за время участия в «Малой гражданской», подсказывал, что нужно держаться группой, и Эллин предпочел остаться членом дружины, а не становиться вновь одиночкой.

Между тем перед волошинцами встал вопрос, оставаться ли и дальше у БД или идти в Останкино. Решение было принято в духе царя Соломона — дружину просто поделили пополам. «Половины», впрочем, были явно неравные. Врачиха-руцкистка, Федорова, Трусевич, Тавризов, Потапов, Андрей и Володя Савельев поехали вместе со Стасом в Останкино — Стас жил недалеко от телецентра — на Аргуновской улице, и у него решили устроить останкинский штаб. С ними поехал и Эллин, во-первых, потому что из всей дружины лучше всех он знал Стаса, во-вторых, потому что втайне надеялся разыскать там Нирмала или кого-нибудь из группы Бийца и присоединиться. Правда, где сейчас Биец — остался у БД или поехал в Останкино, Костя не знал, но про Нирмала знал точно. Четыре человека во главе с Леонтьевым остались у Белого дома.

\* \* \*

Вечером Трофименко, засидевшийся на работе (работы, пока его держали в изоляторе, накопилось невпроворот), прямо оттуда позвонил Дамье. Ему повезло — он сразу же попал на Вадима.

— Что там творится? — поинтересовался Трофименко. — Есть какие-нибудь новости?

— Ты знаешь, что мэрию взяли?

— Нет... — удивился Трофименко. — Ну, это, вобщем-то, здорово.

— Ты погоди радоваться! — придержал его Вадим. — Знаешь, кто там больше всех отличились?

— Кто?

— Твои хорошие знакомые.

Трофименко помрачнел.

— Баркаши?

— Они самые.

Трофименко помрачнел еще больше.

— Да, плохо видно мое дело...

— Ну, ты раньше времени не переживай, пока еще ничего не ясно. Хотя на тебя и ельцинисты дело завели...

— Вот то-то и оно. Я теперь — между двух огней.

— Я не знаю, — сказал Дамье, — может тебе лучше пока куда-нибудь уехать? В крайнем случае, у нас ведь есть товарищи на Украине и в Белорусии.

Трофименко задумался.

— Ну, сначала им, надеюсь, будет не до меня, а вот через пару дней... Слушай, дай-ка мне на всякий случай адреса Донецка и Гомеля!

\* \* \*

Толпа бесновалась у телецентра. Несколько тысяч мужиков, вооруженных дубинками, камнями, и бутылками с бензином, осаждали массивное здание из стекла и бетона, защищаемое несколькими десятками спецназовцев, экипированных по последнему слову военной техники. Поодаль стояло и разъезжало взад-вперед несколько бронетранспортеров. Что это были за транспортеры, никто из осаждавших толком не знал. Изредка кто-нибудь из повстанцев перекидывался парой фраз на эту тему, но одни говорили: «Это — наши», другие — «Это — ихние», третьи — «Это — нейтральные» или «Это — ихние, которые перешли на нашу сторону»; при этом никто не мог вразумительно объяснить, почему, собственно, следует считать транспортеры «нашими», «вашими» или «ихними».

Тут же рядом находились и вожди. Анпилов давал советы, как обращаться с бутылками. Макашев громогласно обещал осажденным, буде те не станут сопротивляться, некоторое снисхождение: «Выходите! Всем, кто сдастся, оставим одно яйцо!» Всем — по одному или на всех — одно, генерал не уточнял. Телецентр безмолвствовал. Народ шумел. Обстановка все больше накалялась.

\* \* \*

Эллин бродил в толпе, разыскивая Нирмала. На худой конец, его бы устроили и бийцевики. Но сыскать кого-то в этом море потертых искусственных кожанок, вылинявших болоньевых курток, защитных бронежелетов не было никакой возможности. Костя всматривался в мрачные лица под кепками, касками и просто взлохмаченными волосами, но знакомых не находил.

Наконец, он решил, что разыскивать тут кого бы то ни было — дело гиблое, и начал пробираться обратно к волошинцам. И тут вдруг толпа заколыхалась, народ начал подаваться назад, и Эллин каким-то шестым чувством понял — сейчас что-то произойдет. И действительно — толпа раздвинулась, образовав впереди Эллина проход, и в этот проход въехал грузовик, на котором

сидело с десятков одетых в камуфляж автоматчиков. Эллин так и не успел разобрать, кто были эти автоматчики — баркаши или офицеры, или, может быть, офицеры-баркаши. Грузовик несколько раз боднул стеклянную стену телецентра, укрепленную здоровыми железяками, раздался звон, полетели стекла. И тут раздался сперва один выстрел, затем выстрел из гранатомета — потом говорили, что это стрелял один из двух повстанческих гранатометов, но тогда Костя готов был поклясться, что стреляли изнутри, и, наконец, за всем этим — непрерывная стрельба из кучи стволов: короткими и длинными очередями и одиночными выстрелами, и непрерывным огнем и для полной гармонии — грохот взрывов где-то рядом — в толпе.

Народ отхлынул от здания, Костю сбили с ног, кто-то упал на него сверху, и когда Эллин, наконец, выбрался из-под придавивших его тел, он понял, что вставать не следует. Из телецентра по толпе стреляли из автоматов и кидали гранаты, а с фланга поливали людей огнем бронетранспортеры, оказавшиеся, как, впрочем, и следовало ожидать, «ихними».

Костя присмотрелся к тем двум повстанцам, из-под которых ему только что пришлось вылезать, и понял, что оба они мертвы. Одного из них — высокого мужика лет сорока пяти с крупными чертами лица (особенно выделялись большой пористый нос и покрытая мелкими язвочками толстая нижняя губа, из-под которой виднелись гнилые зубы) пуля прошила как раз посередине туловища, и кровь из него порядком вымазала Костю. Другой, видимо, погиб от гранаты, потому как его и без того слегка порванная старая кожанка была со спины изодрана осколками, и темные волосы у него на затылке были в крови — видимо, и туда повтыкались куски железа. И не спасли его от гранаты ни щит, ни каска, которые он, может быть, снял прямо с мента, а скорее, — подобрал с асфальта уже после схватки, потому что не было на нем бронежелеза, и мертвая его рука все еще сжимала не ментовскую дубинку, а толстый ребристый железный стержень. Выбираясь наверх, Эллин перевернул мертвеца лицом вниз. Теперь Костя попытался снова повернуть убитого, и когда это удалось, узнал и кожанку с выглядывающей из-под нее красной рубахой, и чуть насмешливое небритое лицо с темными усами.

\* \* \*

Несмотря на внезапность и жестокость произошедшего, в нем не было ничего странного, да и, по правде сказать, ничего неожиданного. Случилось то, что должно было случиться. Огромная, многотысячная толпа оказалась бессильна перед полусотней хорошо оснащенных спецназовцев и неполным десятком бронетранспортеров. Все решило не число — решило оружие. Площадь перед телецентром выметало свинцовой метлой и вычищало осколками гранат. Больше всех доставалось безоружным. Тот, кто пришел сюда с дубинкой, камнем или бутылкой, тот понимал, на что идет. Такие были готовы ко всему, они не растерялись, они успели среагировать, хотя и из них не все выбрались живыми из этой каши. Но те, которые пришли с голыми руками, просто не знали, что делать. Они просто бежали прочь, пригибаясь все ниже и ниже, пока не догадались совсем залечь и расползтись — те, кто был еще жив и способен ползти.

\* \* \*

Волошинцы в первую секунду обалдели не меньше остальных. Даже после стрельбы у Белого дома никто из них не ожидал такой бойни, а если б даже и ожидал, то все равно профессиональный уровень большинства санитаров явно не соответствовал ситуации, и с этим ничего уже нельзя было поделаться, хоть ты тресни. Но выбора не было, и волошинцы сделали все, что от них зависело. Среди всей рассыпанной перед телецентром и брошенной на землю толпы они оказались единственными, кто сохранил не только способность мыслить, но и организованность. И лежащие на земле

ошарашенные истекающие кровью люди видели в «докторах» своих единственных спасителей. Их звали на помощь, к ним тянули руки, на них надеялись... Никому и в голову не приходило, что это — такие же обычные люди, как и те, кто теперь ждал от них помощи, взявшиеся за дело, которое, в общем-то, было выше их сил, но в отличие от остальных не растерявшиеся, когда это несоответствие между намерениями и возможностями стало очевидным, и продолжающие вести себя так, будто их дело действительно им по зубам.

Но то ли из уважения к их дерзости, то ли по какой другой причине судьба оказалась благосклонна к волошинцам. Их миновали пули, их не задел бронетранспортер, проехавшийся перед телецентром и подавивший кучу народу, и мало того, их, казалось бы, безнадежное дело стало им удаваться. Во-первых, оказалось, что для многих раненых, оставшихся вовсе без какой-либо помощи, даже то, что могли сделать волошинцы (а могли они немного — перевязать и оттащить подальше от опасной зоны, где человека могла и достать пуля, и раздавить транспортер), даже это значило очень много. Некоторым даже само сознание того, что рядом есть санитары, придавала силы и помогало дольше протянуть. Во-вторых, через какое-то время на горизонте появились машины «скорой», в которые подъехавший медперсонал начал грузить раненых, прежде всего, тех, кого волошинцы уже вытащили из зоны обстрела. Санитарам «скорых» помогали уцелевшие участники осады телецентра, сумевшие самостоятельно выбраться из-под обстрела, а может быть, и случайные прохожие, если таковые были.

Тяжелораненых отвозили в Склиф, где половина из них оказалась уже покойниками — кто помер по дороге, а кого уже погрузили мертвым. Забрать всех сразу не было возможности, машины, отвезя одну партию, возвращались за новой, и многие померли, пока ждали своей очереди. С легкоранеными было проще — эти могли добраться до больниц своим ходом.

\* \* \*

В то самое время, когда в Останкино творилось чорт знает что, у Белого дома, несмотря на постоянное активное движение, было спокойно. Защитники расширяли свои укрепления, строя новые баррикады. К площадке перед центральным входом в БД постоянно подъезжали захваченные автомашины — некоторые с довольно мощными радиостанциями, подходили отряды, бравшие мэрию, и солдаты, перешедшие на сторону ВС. Собравшаяся неподалеку небольшая толпа пришедших помитинговать и не проявлявших заметного желания к активным действиям одинаково радостными криками приветствовала всех подходивших: баркашей, трудороссов, солдат.

Волошинцы с наступлением сумерек развели костер. Лозован, добывший краску, расписывал стену. Леонтьев заглянул к двадцатому подъезду БД, где тоже был медпункт. Потолкался у здания и получил на дружину паек — черный хлеб и сухари. Четверка наконец-то перекусила.

Потом кто-то услышал, что группа повстанцев поперлась к «Пентагону» и волошинцы отправились туда. По дороге набрали на окровавленного избитого мародерами парня и помогли тому добраться до Арбатской, где отвели его в стационарный медпункт. Подошли к «Пентагону». Рядом действительно стояла небольшая толпа с монархическим и РСФСРовским знаменами, но все было тихо, никаких стычек не было. Вскоре волошинцы вернулись к БД и до десяти, как было договорено, ждали своих товарищей, уехавших в Останкино, а затем, не дождавшись, подались в «Мемориал». Точнее, в «Мемориал» пошли Леонтьев и Лозован; врачаха-трудоросска и Четвертов пошли куда-то к своим. К Леонтьеву с Лозованом по дороге присоединился отбившийся от всех Майсурян. Из «Мемориала» сандружинники созвонились с квартирой Маркелова и, убедившись, что из

останкинской группы все живы-здоровы, стали дожидаться Булгакова с обещанным документом. Скоро однако выяснилось, что Моссовет разогнан, и депутаты арестованы. Сандружина так и осталась официально непризнанной.

\* \* \*

Волошинцы возились с ранеными, пока защитники телецентра не начали стрелять непосредственно по ним, волошинцам. Стреляли, правда, не слишком прицельно — никого из санитаров даже не задело, а может, и попасть в них никто не хотел, а просто пугали, но ощущение было не из приятных. Нашлось ли в волошинцах что-то такое, что не понравилось солдатам, или просто стрелять уже было больше не в кого, трудно сказать, но только ползание перед телецентром становилось все более опасным. Кроме того, профессиональных врачей и санитаров к этому времени набралось уже достаточно. Кое-кто из волошинцев, в том числе Трусевич, которую можно было обвинить в чем угодно, только не в том, что она соответствует своей фамилии, прибились к врачам, а остальные решили, что пора уходить. Несколько человек, несколько грязных усталых мужчин побрели в сторону Аргуновской улицы.

Процессия со стороны смотрелась диковато. Впереди шли Стас с Костей, выглядевшие со стороны, как Пат и Паташон. Костя был на голову ниже Стаса, зато шире в плечах, а в довершение физиономия Стаса, такая же длинная, как и он сам, была чисто выбрита, а светлые прямые волосы зачесаны назад и стянуты в «утиный хвост»; у Кости же квадратное лицо заросло черной бородой, темные волнистые волосы то ли вообще не были расчесаны, то ли просто не поддавались расческе и падали короткими прядями на лоб. Белые повязки с красными крестами не делали их вид менее странным. За ними шли Ник и Хэд, похожие на пьяных бродяг. Замыкал шествие Тавризлов без повязки, зато в белом халате. Время было позднее, места не шибко людные, так что прохожих попадалось мало, зато те, что попадались, сначала раззевали рты, а потом шарахались в стороны. К счастью, идти надо было немного, и минут через пять волошинцы завалились в двухкомнатную квартиру будущего адвоката.

\* \* \*

Миша Голицын, услышав по радио, что у Останкино стреляют, сразу же рванул туда. Выбравшись из метро на станции ВДНХ, Голицын напоролся на отступающих трудороссов и по ним понял, что идет в правильном направлении, хотя, похоже, и слишком поздно. Когда он наконец добрался до телецентра, почти никого из осаждавших там уже не осталось. Прийди Миша чуть раньше, он наткнулся бы волошинцев, и тогда сандружина, быть может, получила бы еще одного члена, причем весьма ценного — худо-бедно Голицын закончил несколько курсов нижегородского мединститута, прежде чем судьба превратила его в московского люмпен-пролетария. Но теперь было поздно — волошинцы уже ушли.

\* \* \*

От огромной толпы, ушедшей в Останкино, назад вернулись жалкие остатки. Люди возвращались кто — малыми группами, кто — поодиночке; многие добирались до Белого дома на метро, и никто из дежурных не возмущался, что через турникет прется мужик в стальной каске, со щитом и дубинкой, будто так и положено — в подобном виде ходить по городу и ездить на транспорте.

С полсотни человек, обалдевших от бойни, остались у телецентра, затаившись на ближайшей автостоянке за фургоном рефрижератора.

\* \* \*

В этот вечер радио- и телепередачи напоминали озвучивание фильма ужасов. Сначала по всем программам вещалось о страшных красно-коричневых, которые с минуты на минуты разнесут по кирпичу всю Москву, не оставив камня на камне. А под конец на экранах появился Гайдар, дрожащий от страха, но такой же пухлый, шарообразный, как и раньше, и, по обыкновению, причмокивая, как упырь, призвал всех москвичей без различия пола и возраста явиться почему-то к зданию Моссовета и там грудью встать на защиту демократии и его Гайдара реформ. Желающих закрыть своим бюстом Гайдара и Ельцина нашлось немало, и вскоре сторонники демократии начали стекаться к Советской площади. Прошел даже слух, что пришедшим раздают оружие. Но это, конечно, была тувта — наверху прекрасно понимали, что дуракам оружие лучше не давать, у воров и грабителей оно и так есть, а честный человек, если он — не дурак, может взять оружие для чего угодно, только не для защиты Гайдаров, Чубайсов и Бурбулисов.

С этого момента ситуация в Москве круто изменилась. До сих пор войска противостояли народу, это было понятно ежу; а когда ежу понятно, что армия воюет с народом, последствия часто оказываются непредсказуемы. Появление у ельцинистов своей обороняемой территории снимало с вояк вину и за ту кровь, что уже была пролита в Останкино, и за ту, что им еще предстояло пролить. Теперь в Москве было два народа, один — против Ельцина, другой — за. И хотя трудно было понять, кого больше (а больше было тех, кто вообще не захотел ввязываться в эту котловасию), но все равно уже можно было оправдать любую мерзость защитой одного народа от другого. Теперь солдаты не воевали с народом. Теперь они защищали демократический народ от красно-коричневого.

\* \* \*

Часов в одиннадцать вечера Петя Рябов, бросив вверенное ему помещение на произвол судьбы (у него не было наружного замка, и он попросту оставил дверь открытой), отправился к Белому дому. Добравшись до цели, он не нашел никого из своих товарищей — все уже либо разошлись по домам, либо сидели в «Мемориале». Несколько сотен человек у БД молча и деловито строили баррикады, расширяя внешнее кольцо обороны. Наиболее передовые бастионы подходили к станции метро.

\* \* \*

Элина передала телефонную трубку мужу: «Поговори с ним. Я не могу его убедить. Он завтра опять пойдет с этими боевиками!» Элин взял трубку.

— Алло! — сказал он. — Костя?

— Здравствуй, папа, — ответил Костя.

— У тебя что, кулаки зачесались? — спросил Элин-старший довольно сурово. — Пострелять захотелось? По людям.

— Я ни в кого не стреляю, — резко возразил Костя. Голос у него был утомленный и какой-то постаревший. — Я спасаю тех, кого не дострелили. Я — в санитарной дружине имени Волошина.

— Волошин, — всплыло в мозгу у Элина-старшего. — «И всеми силами своими молюсь за тех и за других». Неужели и такие там есть?

— Там что больше некому людей спасать?

— Ты знаешь, что здесь творится?

Элин-старший на секунду задумался. Он привык не доверять родным СМИ, но «голоса»! Впрочем, по «голосам» нельзя было до конца понять, что же происходит.

— В общих чертах...

— У Останкино расстреляли демонстрацию. Убитых сотни...

— Ну, так уж и сотни?

— Ну ладно, может, десятки, я не знаю. Во всяком случае, трупов — полно. Раненых — еще больше. «Скорых» не хватает. Там — даже не война, там — чорт знает что, бойня какая-то. У нас — каждый человек на счету.

Элин-старший помолчал. Потом спросил:

— Это правда, что был штурм телецентра?

— Были выбиты стекла на первом этаже. Грузовик въехал. Это и был штурм. А потом всех расстреляли из пулеметов.

Снова возникла пауза. Элин-старший нарушил ее первым:

— Ты там долго еще будешь в этой санбригаде?

— Не знаю, — ответил Костя. — Как получится. Я думаю, это скоро кончится. Еще два-три дня, и их всех перестреляют.

— Хорошо, — сказал отчим. — Единственная просьба — чаще звони. Как можно чаще.

— Хорошо, — пообещал Эллин.

Элина с тоской следила за тем, как муж кладет телефонную трубку.

— Я поеду в Москву! — сказала она, когда Элин, наконец, обернулся к ней. Я сама привезу его сюда!

— Не надо, — возразил Элин. — Если он не сошел с ума и не начал врать, а я надеюсь, что этого не произошло, то там сейчас — куча раненых, и не хватает врачей. Так что, как только ты приедешь туда, ты сама присоединишься к их бригаде. Ты ведь не станешь разбираться, кто чей боевик — врач должен лечить всех.

— Но он же там — не врач, а санитар! — возразила Элина.

Элин пожал плечами:

— Ну, кто-то же должен вытаскивать этих козлов из-под огня...

\* \* \*

Тамара с деревенских времен привыкла рано ложиться и рано вставать, от этого ее не смогла отучить вся ее последующая городская жизнь. То есть, если нужно, Тамара могла не спать и до одиннадцати, и до двенадцати, и до часу, особенно если было с кем провести это время. Но если дел не было, она не позже десяти гасила свет, потому как утром всегда просыпалась не позже пяти и даже в выходные дольше не спала — в крайнем случае, правда, в субботу или воскресенье могла прилечь на час-

другой днем. Третьего вечером у нее никаких дел, вроде бы, не было, если б не Эллин, из-за которого Погудина весь вечер провела у телевизора — во-первых, потому, что не хотела ложиться, не дождавшись Костю, или, на худой конец, звонка от него, во-вторых, потому, что пыталась понять, что же там все-таки творится, и не выйдет ли так, что Эллин, отправившийся спасать раненых, сам, в итоге, окажется в их числе или вообще сложит свою буйну голову.

По телевизору шел какой-то бред, из которого понять что-либо толком было невозможно. Ясно было только, что каша заваривается крутая, так что Эллину, видимо, от безделья скучать не придется. А уж когда Гайдар начал звать на помощь, Тамара окончательно поняла, что работы Косте хватит надолго. Она уж, было, подумала о том, а стоит ли вообще ждать хотя бы даже звонка, но потом решила до полуночи все же подождать.

Эллин позвонил-таки в полдвенадцатого, сказал, что жив-здоров, но приехать у него уже сил нет, потому что вымотался за день, как собака. Тамара, прекрасно знавшая мужиков, по каким-то неуловимым интонациям поняла, что вымотался Эллин не столько физически, сколько морально. Видно, в самом деле, творилось там, где он побывал, что-то малоприятное, что именно, Тамара даже расспрашивать побоялась. Она только сказала что-то в таком духе, что, мол, не сможешь — ничего, завтра увидимся, может, оно — и к лучшему, вообще, говорят: что ни делается, все — к лучшему.

— Знаю, усмехнулся Костя. — Это мне моя бабка сто раз говорила.

Тамара фыркнула.

— Ты с кем это меня сравниваешь? Ты что, хочешь сказать, что я тебе в бабки гожусь?

Косте пришлось объяснять, что в бабки ему Тамара, конечно, не годится, просто его бабка действительно любила рассказывать, что ее отцу, костиному прадеду в свое время светила неплохая военная карьера, светила-светила, да так и не высветила. Что уж он такого натворил, из-за чего не поладил с начальством, об этом никто толком не знал, но только, едва успев стать командиром роты, он был отправлен в отставку по состоянию здоровья, хотя на здоровье сроду ни жаловался, и даже от сибирских лагерей его здоровье не пошатнулось, хотя уж от лагерей-то, казалось бы, у кого угодно начнутся проблемы со здоровьем.

Короче говоря, вместо того чтобы к середине тридцатых командовать полком, а то и бригадой, поселился бывший красный командир в городе Бологое, работал обходчиком на железке, потом заведовал каким-то не то дровяным, не то тряпичным складом, а жена его, выросшая в деревне и никакой городской специальности не имевшая, перебивалась то сторожихой, то уборщицей.

Но зато, как любила повторять костина бабка, если бы стал ее отец комполка или тем более комбригом, неизвестно, что в каком-нибудь тридцать седьмом было бы с его семьей. А так даже в сороковом, когда после Финской попал Орголайнен кому-то под горячую руку и отправили его в Сибирь вслед за его земляками ингермандандцами, даже тогда семью его никто пальцем не тронул. Правда, костина прабабка тогда, в восемнадцатом, выходя замуж, фамилию свою менять не стала. Фамилия Орголайнен показалась ей слишком уж непристойной, и, узнав от комиссара, что она имеет полное право оставаться Воробьевой, прабабка так Воробьевой и осталась. Тем более, что красный муж все равно через неделю ушел с полком, а она осталась в селе, где все ее знали как Воробьеву. А костина бабка вскоре после ареста своего отца вышла замуж и фамилию поменяла. Муж ее был родом из того же самого села, что и ее мать; после армии он решил не возвращаться в родной колхоз, а попытать счастья в городе, пересев с трактора на бульдозер или грузовик, однако

поехал не на великие стройки, а в захолустное Бологое, где жила знакомая землячка — будущая теща. И поскольку был он с костиной прабабкой из одного села и даже приходился ей каким-то дальним родственником (кажется, его отец был ее двоюродным братом), то неудивительно, что он тоже был Воробьев. В итоге, вся семья — муж, жена и теща стали Воробьевыми. Однако ж, НКВД, когда хотело, и не такие узлы распутывало, и простая перемена фамилии от него не спасала. Так что, видно, права была бабка — никому просто не нужна была семья отставного комроты, его и самого-то забрали для галочки, а больше галочек, видно, не требовалось.

А может, это просто судьба хранила Фому Воробьева. Она его всегда хранила. В войну двое его старших братьев погибли, соответственно, подо Ржевом и на Зееловских высотах, а двое младших пропали без вести: один — в самом начале войны, в Белоруссии, а другой — в самом конце, где-то на Сахалине. А сам Фома прошел всю войну, побывал на передовой, дважды вылезал из горящего танка (первый раз — под Курском, второй — под Мукденом) и все равно остался цел и невредим, только поседел весь. А весной сорок седьмого он зачем-то притащился в Москву и вечером в каком-то переулке нарвался на небольшую банду, которых тогда было много. По всем статьям банда должна была обчистить его карманы, да может и самого его кокнуть, но вместо этого главарь банды, лица которого Воробьев в темноте не разобрал (видел только, что тот был одет в офицерскую форму без погон), осветил его лицо фонарем и спросил: «Слушай, мужик, ты в войну в какой части служил?» Услыхав номер части, бандит задал пару вопросов о тех местах, где Воробьеву доводилось воевать и, получив ответы, сказал: «Ладно, мужик, извини, если что!» да и растворился в темноте вместе со своими подручными.

Все это Костя начал было излагать Тамаре, но быстро запутался, потому что времени на разговор у него было немного, а объяснение выходило длинное. Зато, пока он это все это пытался изложить, ему, что называется, полегчало, как будто отдохнул, и Тамара это почувствовала. Она даже подумала, уж не попытаться ли ей все-таки вытащить Эллина к себе, но время уж больно было позднее. Тем временем Костя, которому, хоть и хотелось еще потрепаться с Тамарой, потому что от разговора с ней он действительно отдыхал, но занимать слишком долго телефон было совестно, скомкал разговор и начал прощаться.

— Я тебе завтра еще позвоню, пообещал он. И вдруг добавил, сам не зная, почему, наверно, потому, что подсознательно все еще не хотел прерывать разговор:

— И вообще, кто мне говорил, что все перемены — к худшему?

— Так то — перемены... — усмехнулась Тамара. — Ладно, звони, а лучше приходи. От этого ты хуже раненых перевязывать не станешь, скорее наоборот.

Костя пообещал, что если сможет, то обязательно зайдет, и повесил трубку. Тут Тамара сообразила, что она так и не спросила, много ли там раненых и что там вообще творится на самом-то деле. Впрочем, может быть, это действительно было к лучшему.

\* \* \*

Во втором часу ночи Маркелову позвонил его старый приятель Павел Вельяминов. Павел откуда-то разузнал про сандружину и захотел поучаствовать в хорошем деле. Приглашать его в Останкино было уже поздно, и Стас объяснил Павлу, как добраться до «Мемориала», сказав, что сам он туда подъедет часам к одиннадцати, а когда уйдет, неизвестно, так что Павлу лучше не опаздывать.

\* \* \*

Миша просидел всю ночь в Останкино — там, где последние остатки осаждавших — несколько десятков человек, не пожелавших уходить, спрятались на автостоянке у опрокинутого ими вагона рефрижератора. Их никто не трогал, и они никого не трогали, просто сидели, сбившись в кучу, под серым городским небом. Впрочем, не только небо — все вокруг казалось серым в темноте. Серыми были сами люди, серым — горящий рефрижератор, даже огонь имел какой-то серый оттенок. А кое-где за серыми кустами еще лежали серые трупы, и серая кровь вытекала из них на серую землю. Иногда на людей что-то находило, и часть их, поднявшись, шла к серому зданию. Тогда навстречу им выезжал БТР, открывая огонь, и серые фигурки падали и разбегались, спасаясь в кустах, за деревьями и все за тем же рефрижератором, а потом снова вылезали и утаскивали раненых, и снова наступало затишье. Зачем люди в таком мизерном количестве шли к телецентру, зачем БТР по ним стрелял, не знал, наверное, никто. Потом вдруг начал стрелять и спецназ с крыши телецентра, освещая себе поле деятельности прожекторами, а спецназовский начальник через мегафон требовал «отойти», как будто, когда в тебя стреляют, можно отойти куда-то, кроме как в мир иной. Наконец, люди обалдели настолько, что кому-то уже стало мерещиться по голосу, будто спецназовский начальник — и не спецназовец вовсе, а Хасбулатов, и мужик начал крыть последнего; а вскоре народ вовсе перестал обращать внимание на реакцию противника, разгуливая по улице в полный рост. Тогда мозги у спецназовцев, видимо, слегка прочистились, БТРы остались возле телецентра, и больше уже никто не начинал стрельбу.

Во время очередного выезда БТРа один из спрятавшихся за деревьями хотел было поджечь машину бутылкой с бензином, но его зачем-то удержали. Зато кто-то из оставшихся за рефрижератором поджег его. В конце концов, народу надоело шляться, и он собрался у огня. Потом в рефрижераторе начало что-то взрываться, и все перебрались к новому костру.

Кому-то взбрело в голову, что у Белого дома всем желающим раздают оружие, и толпа молодежи — человек двадцать, отправилась шататься по улицам в надежде поймать какой-нибудь транспорт — дело в такое время и такой ситуации весьма гиблое. За ними увязались и двое беспризорников лет двенадцати, пригревшихся у огня. По ходу дела молодяку пришла в головы мысль сперва перекусить самим и накормить остальных, они попытались взломать кооперативный ларек и два магазина, но безуспешно. Попытка протаранить магазинную дверь какой-то стоящей возле магазина иномаркой тоже не дала результата. С горя ребята со словами «Пусть богатые тоже поплачут!» опрокинули и подожгли иномарку. А тем временем местные мародеры, ни черта не смыслящие в политических раскладах, в том, чем Ельцин отличается от Хасбулатова, но зато знающие толк в другом, разграбили три ларька, оставив в них одни ценники.

Если долго мучиться, что-нибудь получится, и, в конце концов, молодым повстанцам удалось изловить какое-то шальное такси. В него набилось человек восемь, и насмерть перепуганный шеф повез их к БД.

Часа в четыре спецназовцы на крыше, видимо, проснулись и опять открыли совсем уже беспорядочную стрельбу, на которую мало кто уже обращал внимание. А еще меньше чем через час откуда-то подкатил БДшный автобус, собирающий добровольцев, и увез почти всех еще остававшихся, включая и Мишу. Вместе с повстанцами в автобус влезло несколько бухих мародеров, предвкушающих очередную поживу, и оба беспризорника. Зачем три десятка повстанцев набились в этот автобус, хотя никто не мог им вразумительно объяснить, что они будут делать у БД; зачем они взяли с собой мародеров и беспризорных мальчишек — пес его знает! Война всегда порождает неразбериху, и люди перестают действовать логично. Поэтому и побеждает не тот, кто ни разу не ошибется, а тот, кто сделает меньше ошибок, чем его противник.

К БД добирались окольными путями. По дороге мотор заглох, но люди изловили какой-то другой автобус и укатили на нем, пригрозив заартачившемуся было шефу скорым революционным судом. У БД автобус встретил начальник третьего батальона.

В Останкино у догоравшего костра осталось сидеть человек семь-восемь, от силы — десять. Что с ними стало, никто из уехавших не знал. Скорей всего они просто разъехались первым же транспортом, если только спецназовцам не пришло в голову в очередной раз устроить стрельбу или облаву.

\* \* \*

Когда небо на востоке уже начало светлеть, Паламарчук вдруг обнаружил, что остался один. То есть не то, чтобы совсем один — народу вокруг хватало, но куда-то вдруг подевались баркаши, с которыми он в основном общался и которых еще полчаса назад было полным-полно.

Удивленный, Паламарчук прошел пару раз туда и обратно по лужайке перед Белым домом, но никого из баркашевцев не обнаружил. Он решил, было, заглянуть внутрь здания, но сначала, на всякий пожарный, обогнул БД со стороны Дружинниковской улицы и вышел на набережную.

Никаких баркашевцев он тут не увидел. Зато увидел танки. Точнее, танки это были или БМП, и сколько их было, он так и не понял — не успел. Он только увидел колонну бронемашин, неумолимо приближающуюся к баррикаде, если только то, что преграждало путь врагу, могло называться баррикадой. Сначала все это выглядело, как в немо кино, и при замедленной съемке — Паламарчуку показалось, что прошло, по крайней мере, несколько секунд, в течение которых он пытался оценить ситуацию, а танки или БМП, катившие на приличной скорости, не проехали и полметра, и все это происходило в полной тишине, словно он оглох. А затем тишину разрезала не то автоматная, не то пулеметная очередь, и время опять пошло в обычном темпе, не оставляя ни мгновения для размышлений.

Паламарчук кинулся, было, назад к основному входу, но и с той стороны уже слышались очереди. Как ни странно, но именно эта стрельба спасла Паламарчука. Огонь велся со стороны мэрии, и потому с противоположной стороны БД не было ни солдат, ни даже милиции — поставить их здесь — означало бы подставить под пули. У Паламарчука хватило ума не лезть с голыми руками под огонь, а попытаться спастись бегством. Он бежал сначала вдоль набережной — за ним летели пули, но, видимо, стреляли не прицельно, и его не задело — потом, увидев справа от себя подворотню, метнулся в нее и оказался во дворе, пересекши этот двор по диагонали, выскочил в другую подворотню, оказавшись в незнакомом переулке, и только там уже окончательно осознал, что произошло.

\* \* \*

Мохов ушел из Белого дома за полчаса до начала штурма. Утром третьего он не меньше часа отогревался в ванной, а в восемь был уже на ногах. Ему довелось принять участие и в прорыве блокады, и в штурме мэрии, и в походе на Останкино, куда он приехал на одном из грузовиков; а потом, вернувшись к БД, он всю ночь продежурил там и к утру еле держался на ногах, так что начальство почти насильно отправило его отсыпаться, отобрав у Мохова трофейную дубинку и передав ее кому-то из тех, кто оставался на день.

Когда Мохов добрался домой, мать еще спала, потому как вчера легла за полночь. Мохов упал на диван и отрубился, успев поставить будильник на девять часов, чтобы до обеда наведаться в

больницу и разобраться с выпиской. Включить радио он не догадался, ему не пришло в голову, что, пока он ехал домой, могло что-то начаться. Впрочем, после двух суток почти без сна ему уже ничего не могло прийти в голову.

\* \* \*

Прибывшим утром из Останкина так и не пришлось принять реальное участие в защите БД. Их, правда, успели разбить на три отделения, поставив над каждым командира из офицеров, и назначить связных-наблюдателей, которым в случае чего велено было бежать за подмогой. Но назначенные даже не дошли до своих позиций — на мосту появилась колонна БМП и непонятно откуда — не то с БМП, не то с крыш начали бить очередями. Кто-то попытался было закидать БМП бутылками, но ни одна из машин не загорелась, а всех метателей просто перестреляли. БМП разнесли довольно дохлую с этой стороны баррикаду (ее так и не достроили до конца) и выехали на набережную напротив БД.

Со стороны стадиона пустырь перед БД продолжали поливать из автоматов. Все, кто уцелел, забились в подъезд. Неразбериха царила страшная, и даже проход для транспортировки раненых удалось расчистить с трудом.

Оружия никто из «останкинцев», естественно, не получил (хоть на складах БД было, по крайней мере, несколько сотен автоматов), потому что какой же кретин вооружит собственных рабов; так что толку от них не могло быть никакого, их просто согнали как баранов в какой-то подвал, набив туда же всех безоружных. В общей сложности в подвале набралось людей сотни три, включая стариков и женщин (одна даже с ребенком на руках).

Так бедолаги и сидели в подвале аж до тех пор, когда в него через боковой вход пробрались, выломав какую-то дверь, шестеро спецназовцев — каждый с автоматом в руках, бронежелезом на пузе и черной маской на мурле. Фантомасы вытолкали безоружный народ наверх — на первый этаж, где людей ошмонали, уложили на пол и расхаживали по ним, как по паркету, время от времени пиная того, кто больше не нравится.

\* \* \*

Утром ночевавшие у Маркелова волошинцы подкрепились остатками ужина и тамариной кулинарией, которая каким-то чудом сохранилась, несмотря на вчерешнее ползанье Эллина.

— Хозяйственная у тебя герла! — заметил Стас, уминая оладью. — Мне бы с такой познакомиться!

— Какая еще герла? — не понял Костя.

— Ну, твоя деваха, — пояснил Стас.

— Какая к чорту деваха? — недовольно поморщился Эллин и только тут сообразил, что Стас ведь представляет себе Тамару восемнадцати-, от силы двадцатилетней. Но сказав «А», надо было говорить и «Б», и Костя, не вдаваясь в подробности, пояснил:

— Она уже замужем побывать успела, дочка у нее, а ты все «герла».

— Шустрая! — усмехнулся Стас. — Сколько ей лет?

— Сколько есть — все ее, — ответил Эллин.

— Она что, старше тебя? — поинтересовался Маркелов.

— Старше, — ответил Эллин таким невозмутимым тоном, будто Тамара была старше его на год-другой.

— Ты с ней случайно не из-за блинов сошелся? — сострил Стас.

— Нет, — задумчиво произнес Костя, — я еще не дошел до того момента, когда женщину начинают выбирать по такому принципу. Даже, если она старше.

«А все-таки она здорово старше его, — подумал Стас. — Лет на пять наверное. А может и больше».

— Ты не сердись... — начал, было, он.

— Я не сержусь, — все тем же задумчивым тоном заметил Костя. — Я просто здорово устал и за ночь еще не отошел, потому и говорю так. Но только она действительно старше меня и даже больше, чем ты думаешь [«Лет на десять», — подумал Стас], и при всем при этом мне сей факт — абсолютно до лампочки, я об этом как-то не думаю вовсе.

— Ну значит, это — любовь, — заключил Стас. — Знаешь, говорят, каждый человек должен испытать бедность, любовь и войну. Война и любовь у тебя уже есть. Как у тебя с бедностью?

— Хватает, — ответил Костя. — Или ты думаешь, я к Белому дому от скуки притащился?

— Ну значит, у тебя все в норме, — подытожил Стас.

— Значит, в норме, — согласился Костя. Но какой-то чорт дернул его за язык, и он добавил:

— Хотя, если честно, я ведь еще недавно совсем другую любил. В самом деле любил, когда у нас все кончилось, думал — не переживу. А счас уже все забылось.

— Ну значит, — резюмировал Стас, — у тебя бедность и война к той любви относятся. Значит, у тебя будет еще одна бедность и еще одна война.

— Спасибо! — отвечал Костя. — И тебе того же желаю!

\* \* \*

Утром четвертого мало кто из жителей Останкина знал, что творилось у них в районе вечером и ночью. Когда в троллейбусе какой-то мужик заговорил о том, что «вчера стреляли и поубивали кучу народу», его подняли на смех. Скептикам и в голову не приходило, что не только в их районе произошло побоище, но и в одном троллейбусе с ними едут этого побоища живые участники, едут для того, чтобы, встретившись со своими товарищами на Пушкине, снова лезть в самое пекло. Да и кому какое дело было до убитых? Останкинцы спешили по своим делам.

\* \* \*

К одиннадцати часам сандружинников собралось девять человек. Из Останкина добрался Маркелов со товарищи, приехали Леонтьев, и Трусевич, из недр «Мемориала» выполз Лозован, подошел Павел. В одиннадцать дружина двинулась от «Мемориала» в сторону Арбатской площади. Проходя через Пушкину, волошинцы заметили слева, на Тверской какие-то мощные импровизированные заграждения.

— Они что уже сюда добрались? — удивился Маркелов, показывая на баррикаду.

— Это — те, что за Ельцина, — пояснили ему.

— А что, разве есть еще такие что за Ельцина? — изумился Стас.

Дойдя до Никитских ворот, дружина свернула на улицу Герцена и направилась в сторону Садового кольца.

На улицах ничего не напоминало ни о вчерашних событиях, ни о том, что творилось сегодня. Центр был как обычно шумен и многолюден. Несмотря на понедельник, настроение у большинства прохожих было веселое, благо день был не по-осеннему солнечный и теплый. В такой ситуации толпа молодежи, шагающая по городу, выглядела вполне естественно. И все-таки у тех, кто знал, что происходит поблизости, она могла вызвать подозрение, поэтому сразу от Никитских ворот сандружина стала растягиваться, постепенно распадаться на пары и тройки. На подходе к Садовому кольцу дружины как единого целого уже не существовало. Пройти за кольцо большой группой было просто невозможно, и волошинцы начали просачиваться к БД мелкими партиями.

\* \* \*

Паламарчук, выбравшись из пекла, далеко уходить не стал, и маячил возле оцепления то с той, то с другой стороны БД, пока не обратил на себя внимание спецназа, выделившего его из толпы зевак. Тогда двое фантомасов подошли к Паламарчуку и отвели его в какой-то малоприятного вида закуток.

Там трое спецназовцев уже шмонали двух мужиков — одному было лет тридцать, другому — наверно, за сорок. Тот, что за сорок, был типичный ара; тот, что лет тридцати — такой же типичный русак — русоволосый, сероглазый и нос картошкой. Через плечо у русака висела сумка от противогаза, а лицо его показалось Паламарчуку знакомым, где-то он его видел — то ли в БД, то ли в Останкино, то ли еще где, но где именно Паламарчук не мог вспомнить. К тому же, пока он вспоминал, в сумке что-то звякнуло, фантомас, державший мужика на мушке, перетрусил и нажал на курок. Мужик даже не охнул, завалился, как мешок на асфальт, и теперь его лица уже и рассмотреть стало нельзя.

Паламарчук с грустью посмотрел на мужика, затем бросил взгляд на ару, и увидел, что тот тоже смотрит на труп. Что-то странное почудилось Паламарчуку во взгляде ары. Бесконечная грусть была в этом взгляде, но при этом — ни капли изумления по поводу такой нелепой смерти, словно ара, безумно жалея убитого, ни на секунду не сомневался в том, что того могли пристрелить, только потому, что в его сумке завалялись какие-то железяки. Тем временем ара перевел свой взгляд на Паламарчука, и тот вдруг понял, что ара, судя по всему, просто-напросто насмотрелся уже на убийства и, хоть и вызывают они у него грусть, но уже не вызывают удивления — он уже знает, как просто отправить человека на тот свет. И по тому, как ара посмотрел на него, Паламарчук понял, что и у него тоже уже появилось во взгляде что-то такое, чего нет у нормальных людей, и что ара разгадал его взгляд так же, как он разгадал взгляд ары.

Тем временем фантомасы, конвоировавшие Паламарчука, смотались, оставив пленного на милость стрелка, который тут же направил свой автомат в живот Паламарчуку. Пока фантомас держал Паламарчука на мушке двое других проверили документы у ары. Документы оказались в порядке — паспорт и удостоверение беженца. На вопрос, что он тут делает, ара пояснил, что живет неподалеку у брата, который прописан в Москве, и назвал адрес. Тогда ему велели повернуться физиономией к стене и, пока один из спецназовцев следил за ним, другой ошмонал Паламарчука.

Ничего особенного фантомас не нашел, да и не мог найти — никакого оружия, кроме уже потерянной

при бегстве ножки от табуретки, у Паламарчука не было, зато паспорт — был. Но вопрос о том, что он — прописанный в Черемушкинском районе, забыл у Белого дома, застал Паламарчука врасплох. Он задумался было, как бы получше соврать, но тут вдруг влез ара: «Да он меня искал! Это же — мой, как это по-русски... брат жены моего брата. Его сестра замужем за моим братом, понимаете, да?» Паламарчук, услышав о таком непрошеном родстве, только рот раскрыл, а фантомасы похоже слегка усомнились в правдивости слов ары; но тут к ним подвели еще четверых арестованных, и размышлять фантомасам стало некогда, а возиться с лишними пленными, да и с лишними трупами, видимо, не хотелось. «Ладно, генацвале, — сказал один из них — видимо, старший, — бери своего родственника и дуйте отсюда, чтоб мы вас больше не видели!»

Паламарчук с арой не заставили себя упрашивать. Через пять минут они оказались в каком-то дворе, где не было ни фантомасов, ни солдат, ни даже ментов. Здесь ара достал из кармана пачку сигарет и предложил сигарету Паламарчуку. Тот отказался, тогда ара закурил сам.

— Тебя как зовут? — спросил он.

— Анатолий, — ответил Паламарчук. — Ты зачем им лапшу на уши навешал?

Ара удивленно посмотрел на Паламарчука.

— Ты что, хотел остаться у них?

Паламарчук ничего не ответил. Он не хотел оставаться у фантомасов. Ему было неприятно, что своим спасением он обязан уроженцу Закавказья.

— Меня Эльдар зовут, — представился беженец, не дождавшись ответа. И, глубоко затянувшись, покачал головой:

— Что творится! В центре города война идет! Прямо, как в Баку! Стоило приезжать, если и здесь то же самое!

— Так может и правда не стоило? — поинтересовался Паламарчук.

Эльдар развел руками:

— А что мне было делать? У меня отец — азербайджанец, мама — армянка. Для, азербайджанцев я — армянин, для армян — азербайджанец! Куда мне деваться? Здесь хоть пока не спрашивают, азербайджанец я или армянин. Если еще и здесь спрашивать начнут, что я буду делать? Не знаю. Я что, выбирал, кем родиться?

— Что ж вы там сами с собой мирно разобраться не можете? — укоризненно спросил Паламарчук.

— А вы можете? — усмехнулся беженец. — Там что в Белом доме англичане сидят? Или может стреляют по нему итальянцы? Вы русские — один народ между собой разобраться не можете, а хотите, чтобы два разных народа разобрались! Это все равно, что вам с татарами разбираться. Не дай Аллах, конечно, чтоб у вас с ними такое началось.

\* \* \*

Стас с Павлом отстали от остальных еще в начале Герцена. Добравшись до Садового кольца и увидев маячащие на нем патрули, они решили туда не соваться и попробовали пройти в Белому дому со стороны Баррикадной.

Возле метро ошивались патрули. Стас с Павлом перелезли через ограду зоопарка и через его территорию выбрались на Красную Пресню.

На Красной Пресне собралась изрядная толпа. Пахло газом. Время от времени толпа начинала потихоньку продвигаться в сторону БД, тогда кто-нибудь из патрульных палил поверх голов из автомата, после чего толпа отступала, но расходиться не расходилась. На патрульных толпа смотрела с ненавистью — собравшиеся здесь сочувствовали защитникам БД.

На другой стороне улицы в подворотне патрульные обыскивали двух человек, наставив на них автоматы. Точнее, обыскивали одного, раздев его до трусов, второй просто был уложен на асфальт лицом вниз.

Затем по улице в сторону Белого дома проехала колонна танков. Стас с Павлом разыскали телефон-автомат и отзвонили в «Мемориал» по поводу танковой колонны. Заскочили в ближайшую забегаловку, перекусили и вернулись туда, где стояла толпа. Здесь мало что изменилось. Разве только патруль шмонал теперь второго мужика, а первый лежал на асфальте. Пройти к БД по-прежнему было невозможно или, во всяком случае, казалось невозможным.

Санитары решили попытать счастья с другой стороны, снова пробрались через зоопарк и, описав солидный полукруг, оказались где-то в переулках Арбата. Здесь для них неожиданно нашлась работа, правда, никак не связанная с боевыми действиями — нужно было помочь строительнице, свалившейся с третьего этажа. Строительница каким-то чудом осталась жива и даже ничего себе не сломала (может быть, потому, что, несмотря на свою молодость, была уже довольно пухлой), однако сознание потеряла. Стас с Павлом привели ее в чувство и снова пошли искать тропы к Белому дому. Но не успели они толком отойти от места происшествия, как неожиданно напоролась на каких-то типов с такими же как у них крапчатыми повязками.

— Вы кто? — поинтересовался Стас.

— А вы? — последовал стандартный контр-вопрос.

Павел, хотел было ответить, но его опередил Стас.

— Мы из санитарного отряда «Мемориала», — заявил он вытянувшись во весь свой длинный рост. — Мы тут уже второй день.

Типы моментально оробели, однако попытались показать, что и они не лыком шиты.

— А мы — второй медотряд, — пояснил один из них.

Стас окинул отряд снисходительным взглядом.

— А может вы с нами пойдете? — предложил кто-то из отряда. — А то у нас настоящих врачей мало.

Стас с Павлом покрутили носами и согласились.

\* \* \*

Леонтьев, Лозован, Тавризов и Трусевич перед самым Садовым кольцом свернули в переулки и, не встречая патрулей, благополучно дошли до Нового Арбата. Здесь, так же как и на Пушкинском или на Тверском, все было по-обычному, народ расхаживал с довольными мордами.

На углу Нового Арбата и Садового кольца картина резко изменилась. Точнее к одной картине добавилась другая. До кольца жизнь была такой же мирной, как и в центре. По обеим сторонам кольца стояли в полной боевой экипировке военные патрули, и дальше Новый Арбат был почти совершенно пуст, только приглядевшись, можно было заметить такие же группки солдат в доспехах и при оружии, жавшиеся к стенам домов. Здесь был мир, там — война. Она начиналась сразу, безо всякого перехода. Граница между войной и миром проходила по ближнему к центру тротуару Садового кольца. Впереди было Садовое кольцо и вооруженные посты, перекрывающие Новый Арбат, позади — обычный центр Москвы, такой же как всегда, никак не реагирующий на то, что происходит поблизости. Впереди слышались выстрелы, сзади — громкий голос какого-то пьяного мужика.

Четверка несколько раз прошла по Садовому взад-вперед, потеряв в процессе этого хождения Леонтьева, и снова оказалась на углу. Тавризов побежал разведать обстановку, а Лозован и Трусевич попытались завязать разговор с солдатами, но тут вдруг совсем рядом началась стрельба, офицер заорал: «Всем укрыться!», и санитары, забежав за угол, заскочили в ближайший подъезд.

В окно лестничной клетки было видно, как по двору бегают какие-то типы в гражданской одежде и бронежилетах. Потом трое таких же типов вбежали в подъезд и, не глядя на санитаров, побежали по лестнице вверх. Где-то там наверху раздались выстрелы.

Тем временем на улице сцапали пьяного. Его о чем-то спрашивали, он отвечал, но что именно, разобрать было нельзя. Потом Лозован расслышал: « — А там кто? — Не знаю, ребята какие-то». Двое в бронежилетах заскочили в подъезд и со словами: «Кто такие?» направили пушки на сандружинников. «Красный крест», — успел ответить Лозован, и тут же его развернули лицом к стене, уперли в бок пушку и обыскали. Краем глаза он увидел, как к стене довольно грубо бросили Трусевич. С чердака вернулись те трое с трофеями в руках. Один держал бронежилет, другой — пачку сигарет, а третий, поигрывая патронами, говорил: «Патроны — из Приднестровья». Как он определил, откуда именно патроны, осталось загадкой. Троица вышла на улицу, и за ней выскочили те двое, что шмонали санитаров.

С улицы слышались голоса: «Двое ворвались в соседний дом... с автоматами... отобрали у охранника ключи... и побежали вверх...» Лозован с Ольгой, выбравшись из подъезда, увидели, как типы в бронежилетах вбегают в двери углового дома на нечетной стороне Нового Арбата. Через несколько минут оттуда вывели парня в камуфляже. На парня тут же накинута уже успевшая собраться толпа, кто-то из бравших его дал очередь в козырек над подъездом здания, и толпа разбежалась, но парень уже лежал на тротуаре. Его ухватили за шиворот, как мешок с картошкой, и поволокли к машине. Через минуту на улице не осталось никаких вооруженных в штатском — только солдаты, да беззаботные прохожие со стороны центра. Даже толпа, бывшая пленного, как-то рассосалась, рассредоточилась.

Лозован и Трусевич перебрались на нечетную сторону Нового Арбата и тут столкнулись с Тавризовым. Втроем они спустились к выходам из метро со станции «Смоленская», пересекли Садовое и уже оттуда дворами побежали в сторону Белого дома.

\* \* \*

Леонтьев шел вместе с Трусевич, Тавризовым и Лозованом, пока вдруг не напоролся на свою знакомую, которую звали Аллой и которая жила здесь, на Садовом. Услышав про сандружину, Алла загорелась желанием чем-нибудь ей помочь и стала уговаривать Ярослава заскочить к ней, обещая

снабдить всю дружину бутербродами, да и вообще предлагая сделать ее квартиру штабом дружины.

Пока Алла излагала Леонтьеву свои предложения, Лозован, Тавризов и Трусевич куда-то исчезли, порешив, видимо, что Ярослав надумал от них отпочковаться; так что вопрос о штабе отпал сам собой; однако предложение запастись бутербродами звучало заманчиво, особенно после вчерашнего не особо сытного дня, и Ярослав согласился. Вместе с Аллой он поднялся к ней на последний этаж, после чего Алла открыла дверь своей квартиры и, попросив Ярослава подождать минутку, пошла загонять в комнату своего ротвеллера, который мог неадекватно отреагировать на гостя.

Тут, как на зло, из чердачного помещения, распахнутая дверь которого была как раз напротив аллиной, послышалась стрельба очередями. Стреляли, судя по всему, по улице, но Леонтьев все одно почувствовал себя между двумя огнями — с одной стороны был автоматчик, с другой — злой ротвеллер. По счастью, пребывание между стрелком и собакой длилось недолго — Алла загнала барбоса в комнату, и Леонтьев нырнул к ней в квартиру. Окна квартиры выходили на улицу, и Леонтьев попытался понять, по кому стрелял автоматчик, но так и не понял — ни убитых, ни раненых на улице не было.

Тем временем с черного хода появились омоновцы, вызванные мужем Аллы. Как в каком-нибудь крутом боевике, омоновцы распахнули парадную дверь и, дав очередь по чердаку, рванули туда; однако было уже поздно — автоматчик только что ушел по крыше в другой подъезд. Впрочем, далеко уйти ему не удалось — омоновцы по рации связались со своими, и вскоре Леонтьев с Аллой увидели в окно, как из дома напротив вытаскивают какого-то парня в камуфляже с повязкой на голове, отгоняют от него разъяренную толпу, затем волокут побитого-таки пленного по земле и запихивают его в воронку.

\* \* \*

Лозован, Тавризов и Трусевич через переулки выбрались к мэрии. Дело оказалось нехитрое — многие патрульные сами показывали дорогу, мол, здесь перекрыто, а вон там сверните за угол и пройдете. По дороге волошинцам повстречался невесть откуда взявшийся Четвертов, в полном соответствии со своей фамилией опять присоединившийся к группе в качестве четвертого.

Четверка угнездилась возле нижнего яруса мэрии там, где к нему примыкал газетный киоск, создававший какое-никакое прикрытие от шальных пуль. Тут здорово воняло, зато место было более-менее безопасное — хотя вокруг то и дело постреливали, сюда пули не долетали. Впрочем, ситуация все время менялась, и один раз стрельба стала такой интенсивной, и пули зашлепали так близко от киоска, что оставаться на выбранной позиции стало нельзя, и санитарам пришлось нырнуть в узкий простенок между киоском и мэрией. Тавризов, ближе всех стоявший к простенку, сиганул было туда «рыбкой», но вовремя уцепился за стены, сохранив вертикальное положение и относительную чистоту экипировки. Относительную потому, что ноги его все-таки увязли в дерьме, которым простенок оказался завален буквально по щиколотку. Кто навалил здесь такое количество отходов человеческой жизнедеятельности, осталось загадкой, от разрешения которой санитарам вряд ли стало бы легче. Последней в дерьмо вошла Трусевич — не от женской брезгливости, а от отчаянной смелости, из-за которой она оставалась снаружи, пока Лозован по настоянию Тавризова силой не втянул ее в простенок.

Так санитары и простояли в дерьме минут пятнадцать, после чего стрельба вдруг резко стихла, а к выбравшимся из простенка волошинцам штурмующие приволокли из мэрии до ужаса

переломанного мужика, который, по словам фантомасов, сперва отстреливался, а потом то ли выбросился из окна, то ли был выброшен своими. «Скорая» стояла почти рядом, волошинцы донесли до нее мужика в полминуты, но за это время тот успел очухаться и рассказать санитарам, что ни из какого окна он не летал, а просто его отделали фантомасы ногами и прикладами.

Мужика погрузили в «Скорую», где он, собственно говоря, и помер по дороге в больницу, а волошинцы вернулись к киоску из-за которого доносились вопли какого-то журналиста, коего со словами «писаки е...ные» долбали фантомасы.

## ГЛАВА 7

\* \* \*

Эллину крупно не повезло. Когда дружина начала делиться, он хотел, было, прибиться к Стасу, но на какую-то секунду оказался один, да еще и позади всех. Этого оказалось достаточно, чтобы на него неведомо откуда выскочила какая-то полоумная бабка, которая, увидев на костинном рукаве медицинскую повязку, буквально вцепилась в Эллина и стала его упрашивать пойти помочь ее внучке — та, по словам бабки, уже неделю, как простудилась, и все никак не выздоровеет. Объяснить бабке, что-либо было невозможно — у нее явно были не все дома, а позвать кого-то из новых товарищей на помощь Косте было неудобно. Короче говоря, когда минут через пятнадцать он отвязался, наконец, от назойливой старухи, никого из сандружинников поблизости уже не было. Пробормотав со вздохом: «Отряд не заметил потери бойца», — Костя в гордом одиночестве направился к Садовому кольцу.

Добравшись до кольца, он попытался, было, сразу перейти на другую сторону, однако скоро понял, что это — не только бесполезно, но и небезопасно. Тогда он отошел по кольцу в сторону Маяковки, подальше от патрулей и начал обдумывать ситуацию.

Ситуация вырисовывалась следующая: либо к Белому дому все же можно добраться со стороны центра, либо нет. В последнем случае надо не маяться дурью, а обходить БД с какой-нибудь другой стороны. Но и в первом случае, как ни странно, выходило так, что лучше не лезть отсюда, а попытаться обойти со стороны зоопарка, а лучше и вовсе со стороны окраины. Потому что волошинцы двигались к БД от центра, и если с этой стороны все-таки есть проход, они все, скорей всего, и прошли или пройдут отсюда, а с противоположной стороны к БД никто из них не подойдет. Сделав такой вывод, Эллин решил как следует обогнуть БД и сначала отступил к Маяковке, а затем по Тверской вышел к Белорусскому вокзалу.

Отсюда ничего не стоило обогнуть БДшные окрестности по Грузинскому и Пресненскому валам — любой, хорошо знающий этот район, на месте Кости так бы и сделал. Но Эллин знал Москву не больно хорошо; точнее, он хорошо, как свои пять пальцев, знал только небольшой кусок окраины, протянувшийся от Битцевского лесопарка до станции метро «Юго-Западная», или, вернее, до МИРЭА, да еще один кусок в центре между "Ногой", устьем Яузы и Серебрянической набережной, где находилась 2-я Красильно-отделочная фабрика, да еще, может быть, пару-тройку мест; всю остальную Москву он знал плохо или не знал вообще. Однако за время общения с Бийцем Костя успел усвоить, что расстояние между станциями метро «Сокол» и Октябрьское поле» не больше, чем между станцией «Беляево» и домом Ксении. Поэтому он, не долго думая, спустился в метро и доехал до «Сокола», а оттуда направился к «Октябрьскому полю».

Здесь он заскочил к Бийцу и попытался сагитировать последнего на создание еще одного санотряда, но эта идея не вызвала энтузиазма у вождя троцкистов. Оставив Бийца в покое, Эллин доехал до «Беговой» и оттуда стал пробираться к Белому дому, полагаясь в поисках пути в основном на свою интуицию.

\* \* \*

Трофименко появился у БД в самое время боя. Первоначальное истребление безоружных и полубезоружных защитников было уже закончено, и теперь шел планомерный обстрел здания.

Одетый в ту же светлую куртку, что и в первую ночь «противостояния» Трофименко пришел со стороны набережной. Он добрался на метро до «Парка культуры», до которого поезда еще ходили, а дальше шел пешком мимо Киевского вокзала. У Новоарбатского моста ему попался на глаза первый раненый — мужик лет тридцати пяти весь в крови лежал в каменной нише под мостом. Посмотрев несколько секунд на раненого, Трофименко поднялся на мост и огляделся, оценивая обстановку.

Зрелище было паршивое. Белый дом горел. Со стороны реки напротив него стояла шеренга бронемашин, обстреливающая здание. Где-то до средних этажей Белый дом действительно был белым, а потом из окон начинали тянуться полосы черного дыма, и само здание становилось черным. Изредка в каком-нибудь окне сверкал огонек — стреляли из автомата. В ответ БМП шарахало из пушки; из окна вылетала куча бумажных листов, и они разлетались по ветру. Толпа, глазеющая на обстрел, выла от восторга и орала: «Давай! Так им и надо!» или что-нибудь подобное. Трофименко пожалел, что у него нет автомата.

На углах торчали менты и солдаты — все с автоматами в касках и бронежилетах. Они же сдерживали толпу, не давая ей слишком близко подойти к осажденному зданию.

Убедившись, что пробраться к БД с этой стороны невозможно, Трофименко решил обойти поле боя вокруг и посмотреть, нет ли где дыр в кольце осады.

До здания мэрии, вернее, до нижнего его яруса он добрался без препятствий. Никто ему не помешал. Правда, откуда-то постоянно стреляли, причем почему-то одиночными, казалось, что это кто-то бьет как раз по той части мостовой, по которой пошел Трофименко, может, потому она и была пустой — никто на ней не стоял, и даже ментов с солдатами тут не было. Но Трофименко не надо было стоять, он просто пересек этот участок быстрым шагом и, остановившись возле киоска, притулившегося к мэрской стене недалеко от угла, огляделся. Следом за ним или даже одновременно к мэрии начали перебегать вездесущие панки.

Пройти между мэрией и Белым домом было явно невозможно. Тогда Трофименко пошел вдоль стены, надеясь обойти мэрию вокруг. Сделать это было невозможно в принципе, ибо с другой стороны к мэрии примыкало американское посольство; но Трофименко плохо знал центр, а возвращаться назад, после рывка к мэрии на глазах у потенциального противника ему показалось небезопасным. Следом за Трофименко потянулись панки. Когда Трофименко отходил от киоска, они собрались возле угла. Когда прошел несколько шагов, панки перебрались к киоску.

Проходя мимо мэрии, Трофименко увидел за разбитыми окнами маскировочную сетку. За сеткой, в глубине сидело несколько типов в камуфляже, который настолько сливался с сеткой, что Трофименко с трудом мог различить фигуры сидевших; однако ж, он ясно видел их глаза. Глаза следили за ним. Трофименко усмехнулся про себя и пошел дальше. Нижний ярус мэрии плавно переходил в довольно длинную стену. У стены стояло несколько фантомасов с автоматами и в доспехах, а за ними головами

к стене лежал целый ряд штатских с руками за головой. Один из фантомасов с интересом поглядывал в сторону Трофименко.

Трофименко пошел вперед, сделав самую невинную рожу, на которую только был способен. Это была величайшая глупость — идти прямо в зубы к фантомасам, хотя неизвестно, можно ли тогда еще было повернуть назад и как к этому бы отнеслись сидящие в мэрии. Но Трофименко, видимо, от всего пережитого плохо стал соображать и почему-то был твердо уверен, что сойдет за невинного прохожего — будто невинные прохожие шляются в зоне обстрела — и только когда один из фантомасов, наведя на него автомат, потребовал поднять руки, начал сомневаться в осуществимости своей затеи. Фантомас, держа палец правой руки на спусковом крючке, левой ошмонал Трофименко и нашел у того на поясе здоровенный ножак.

Поняв, что влип, Трофименко схватился за голову, что было не трудно — ему было велено держать руки за головой. Он даже не заметил, что за его спиной уже шмонают панков, бежавших за ним, как бараны за вожаком. В то, что его расстреляют, Трофименко как-то не особо верилось, но перспектива пролежать тут незнамо сколько, а потом еще топать за решетку, откуда он только-только вылез, его не прельщала. Если он не начал биться головой о стену, то только потому, что уж больно неудобно было перед фантомасами — узнают, кто он и будут потом думать, что все анархисты — психи. Он даже попытался было пролепетать что-то насчет того, что он хороший — мирный, просто вышел воздухом подышать, да случайно забрел в эту кашу — с кем не бывает. Но самодельный нож с двадцатисантиметровым лезвием оставался реальностью. Объяснения, что, мол, в такое время без оружия ходить страшно, на фантомасов, похоже, не действовали. С такой штукой они имели, если не право, то уж, по крайней мере, возможность пустить Трофименко в расход. Но тут неведомо откуда появилась телерепортерка и начала снимать кадры, ставшие вскоре хитом — «арест боевика красно-коричневых». Если бы Трофименко вздумал стать основателем новой религии, ему следовало бы обожествить телерепортерок.

Репортерка засняла разоружение и пошла вслед за фантомасом, относящим куда-то свой трофей, по дороге интервьюируя спутника. Между тем Трофименко, уже совсем было потерявший лицо, взял себя в руки и начал работать мозгами. Первое, что пришло ему в голову — это то, что надо бы снять с пояса и выбросить ножны, вряд ли кто запомнит, у кого нашли нож. Но сделать это, держа руки за головой, было непросто. Подошли еще двое фантомасов, ведя ошмонанных панков. Фантомас, карауливший Трофименко, поставил его в строй к панкам, и один из конвоиров повел всех вдоль стены — туда, где вереница лежащих тел, наконец, заканчивалась, и можно было положить новых пленных.

Трофименко подумал, что, если будет хоть малейшая возможность, надо задавать деру. Конечно, есть риск, что пуля догонит, но то, что ждет его здесь, вряд ли будет приятнее.

Пройдя шагов десять, колонна остановилась. Здесь стоял еще один фантомас. «У этих что-нибудь нашли?» — спросил он у конвоира. «Ничего», — ответил тот. Он не видел, как шмонали Трофименко. «Гони их, — сказал фантомас, — к е...ной матери!»

Панков построили попарно. Трофименко оказался пятым, и его поставили в самый конец. До последней секунды он не знал, успеют его отпустить или нет. Всех еще раз охлопали, но под одежду не лезли, а матерчатые ножны под курткой не прощупывались. «Пошла» одна пара, другая... «Давай, отец!» — сказал фантомас и хлопнул Трофименко предплечьем по пузу — словно бы хотел вломить напоследок, но только гораздо слабее. О чем думает человек, уходя из-под дула автомата? Пес его

знает. Трофименко, перебегая к ближайшей подворотне, думал о том, что же все-таки означал этот хлопок по пузу. И еще он думал о том, какой это все-таки бардак — война.

\* \* \*

После того как из мэрии перестали выносить раненых, волошинцы некоторое время продолжали оставаться возле мэрии, а потом, обогнув киоск, попытались оттуда приблизиться к Белому дому. Однако улица между мэрией и БД слишком хорошо простреливалась, и после пары неудачных попыток санитары, решив больше не искушать судьбу, вернулись на прежнее место. Это произошло как раз в тот момент, когда Трофименко стоял под прицелом фантомасов. Волошинцы разминутись с ним в полторы минуты.

\* \* \*

Первого раненого Эллин заметил довольно скоро. На углу Красной Пресни и Трехгорного вала Костю спугнул патруль (патруль был обычный, милицейский, но береженого бог бережет), и Эллин, свернув на Трехгорный, топал по нему аж до Рочдельской, где снова повернул к БД и тут же напоролся на мужика лет тридцати с простреленной ногой.

Мужик не имел к защитникам БД никакого отношения, а, может, и имел, но скрывал это; во всяком случае, он утверждал, что оказался тут по своим делам, и ранил его снайпер с крыши. Как мужик с дыркой в ноге сумел уйти так далеко от Белого дома, осталось для Кости загадкой. Правда, пуля, судя по всему, повредила только мышцу, кость была цела.

Эллин тамариным скальпелем распорол мужику штанину и перевязал ногу, после чего закинул руку раненого себе на плечо, и они довольно долго бродили вдвоем на трех ногах, выясняя, где тут поблизости больница или хотя бы травмопункт.

В конце концов, они добрались до какой-то поликлиники, и тут, как обычно, выяснилось, что одних врачей нет на месте, а другим нет дела до раненого. Тогда Эллин начал темпераментно объяснять ситуацию первым попавшимся врачам, демонстрируя им то раненого, то свою повязку с красным крестом, то тамарин скальпель. Видимо, то ли костино упорство, то ли вид скальпеля возымели свое действие — откуда-то появился хирург и уволок мужика в свой кабинет, пообещав Эллину, что раненого обслужат по высшей форме, и как-то особенно настойчиво подчеркнув, что Костя, как мавр, сделал свое дело и, как мавр, может, ну, словом, уходить. Удивленный такой настойчивостью, Костя вышел из поликлиники и тут же услышал вой милицейской сирены и увидел машину, катящую аккуратно к поликлинике. По его это душу или за раненым, Эллин не стал выяснять, нырнул во дворы и был таков.

\* \* \*

В восемь утра по внутренней радиосети БД было объявлено, что депутатам и сотрудникам аппарата надлежит собраться в зале Совета Национальностей (благо, зал находился в середине здания, окон не имел и от обстрела был защищен). Собраться они собрались и первые часа полтора даже что-то обсуждали. Однако, ничего дельного придумать не удавалось, да и что тут можно было придумать? Было ясно, что игра проиграна, по крайней мере, если и дальше играть по тем же правилам, а нарушать эти правила никто не хотел, да и поздно уже было. Раньше надо было вооружать народ и поднимать регионы, теперь те же региональные элиты стали к Ельцину лояльней, после того как Черномырдин спросил у губернаторов, чего те добиваются, уж не хотят ли они, чтобы и в их областях началось то же, что в Москве? Но ведь если бы даже и можно было еще что-то сделать, что бы это

меняло? Ведь изменить ситуацию можно было только, подняв великую смуту, по сути дела, начав революцию, а кто из депутатов хотел великой смуты и революции? Они хотели власти, а власть боится потрясений.

Словом, вскоре собрание начало плавно перетекать в концерт депутатской самодеятельности — при тусклом свете внутреннего освещения державные мужи пели под гитару песни собственного сочинения. Может быть, это была попытка помереть с музыкой, а может, у депутатов просто ехала крыша... К середине дня организованное собрание как таковое окончательно прекратилось, и только время от времени заслушивались объявления и сводки с поля боя. Изредка по зданию в сопровождении более чем десятка вооруженных охранников проходил Хасбулатов, пожимавший руки всем, кто попадался ему на пути.

\* \* \*

Забежав в ближайший двор через простенок между домами, Трофименко попытался сразу же и выскочить со двора через подворотню, но не тут-то было — за ней стояли фантомасы, загонявшие обратно двух мужиков, которые пытались вывести парня лет пятнадцати, раненного, вроде бы, снайпером. Фантомасам было накласть на парня. На других — тем более. Трофименко сунулся, было, обратно в простенок, но понял, что мимо фантомасов ему, один чорт, не пройти — простенок и подворотня выходили на одну и ту же улицу, и расстояние между ними было метров десять. Тогда Трофименко остановился и оглядел двор.

Двор с двух сторон оганичивался сталинским домом, с двух других — какими-то стенами и заборами, за которыми, судя по всему, был двор мэрии или еще чего похуже, во всяком случае, лезть туда было небезопасно. Никаких других выходов, кроме простенка и подворотни не было. Ниппель и только. Кроме Трофименко и панков, во дворе обреталось еще несколько мужиков. Двое из них, повернувшись к стене, подмывали ее устои.

Трофименко обошел двор. Задрал ногу у стены (на всякий случай, чтоб не мучаться, если все-таки придется лежать мордой в асфальт). Вспомнил про ножны. Но снять их не успел. Он вдруг увидел, что с земли к одному из окон дома, почему-то открытому, проложена доска, и народ лезет по ней. Трофименко тоже рванул по доске. Влез в окно и оказался в подъезде между первым и вторым этажом. Вместе со всеми спустился к выходу. От Садового кольца людей отделяла только массивная старорежимная дверь.

Кто-то из панков открыл дверь и высунулся наружу. Прямо перед дверью на проезжей части стояла машина «скорой», возле которой, как бы прячась за ней от улицы, стояли двое мужиков в халатах: один — видный, средних лет и, судя по манерам, врач, другой — высокий, худощавый, лет двадцати пяти; да еще солдат — в доспехах, при оружии, но без маски. Увидев панка, врач заорал, что на чердаке дома напротив сидит снайпер — держит на прицеле пяточок перед подъездом, и велел панку не высовываться. Насчет снайпера было похоже на правду, но сзади, по мнению Трофименко, его, Трофименко могли хватиться, и анарх взял инициативу в свои руки. Подержав некоторое время дверь закрытой, чтоб снайпер, если он там есть, слегка успокоился, Трофименко резко распахнул ее и в два прыжка оказался у машины. За ним, как горох из дырявого мешка, посыпались панки. Снайпер никак не отреагировал. Врач заорал дурным голосом, но тут же заткнулся. Теперь гнать панков обратно в дом было просто глупо. Санитар и солдат, видимо, не питавшие особой вражды к гражданским, волею случая попавшим в эту кашу (и уж, конечно, не предполагавшие, каким образом попал сюда Трофименко), следили за развитием событий с некоторым, как казалось, даже

любопытством; и врач махнул рукой. Трофименко побежал по тротуару в сторону американского посольства (не зная между прочим, что там находится посольство), а за ним побежали панки.

Бежать пришлось с поднятыми руками и постоянно оря, что их уже ошмонали и приказали им бежать в эту сторону. Шагах в тридцати от машины их уже ждал новый кордон, в котором набралось всякой твари — если не по паре, то уж во всяком случае — по харе. Были тут и фантомасы, и солдаты без масок, и даже какая-то деваха в форме, но без оружия. Кордон схватился за автоматы, но магические слова «нам приказали» возымели свое действие, и беглецов пропустили, даже не обыскивая, перегнав только на другую сторону кольца — подальше от посольства. Тут Трофименко вспомнил, что он так и не снял ножны.

Убедившись, что непосредственная опасность миновала, иреановец огляделся. Он стоял на какой-то узкой улочке, возле старого дома в лесах. Вокруг толпился народ. Наиболее шустрые бегали уже по лесам.

Трофименко никогда всерьез не занимался ни альпинизмом, ни скалолазанием. Он просто с детства умел и любил лазать по деревьям, домам, скалам, стройкам. Это был природный талант, требовавший реализации. Даже если бы вокруг дома не было лесов, Трофименко, вполне возможно, не удержался бы от того, чтобы в такой ситуации на него влезть. Теперь же анархист не раздумывал ни секунды. Он раньше всех оказался на крыше дома, на самом ее верху. Минут через пять, посмотрев вниз, Трофименко увидел Диму Старикова, который подошел к лесам, постоял с секунду, словно вспоминая свою молодость, и ловко уцепился за леса. Через минуту он уже здоровался с Трофименко. Здесь на крыше дома N 57 по улице Герцена, через год ставшей Большой Никитской, строители первых баррикад у Белого дома наблюдали его штурм.

\* \* \*

Эллина доставали патрули. Мало того что они постоянно попадались ему на глаза, так, в конце концов, он сам попался на глаза одному из них, и вояки, заметив Костю, быстро пошли за ним. Не дожидаясь, пока его окликнут, Эллин завернул в какой-то двор и, покружив по нему, в конце концов, заскочил в первый попавшийся подъезд. Может быть, это было излишним, но после того что он увидел в Останкино, Костя окончательно потерял всякое желание общаться с правительственными войсками.

Оказавшись в подъезде, Эллин начал было подниматься по ступенькам и тут только увидел, что он не один. На лестничной клетке у окна — кто на подоконнике, а кто просто на корточках — сидело несколько каких-то личностей. На вид сидевшим было лет восемнадцать-девятнадцать, самому старшему, несильно за двадцать. Что они тут делали, было непонятно, может быть, тоже прятались от патрулей.

Эллину его соседи сразу не понравились. Что-то в них было от тех пацанов, которые почти пять лет назад распоролы ему куртку, только кое-кто из этих был постарше, чем те тогда. Эллин на несколько секунд задумался, поздороваться ли ему с компанией или не обращать на нее никакого внимания, но тут один из сидевших, на вид — самый молодой, привстал и безо всяких приветствий и вступлений спросил у Кости:

— Ты кто?

— Санитар, — столь же лаконично ответил Костя.

— Санитар?.. — удивленно протянул парень. — А морфий у тебя есть?

Морфия у Кости, естественно, не было, так же как не было ни спирта, ни каких бы то ни было наркотических препаратов.

— Х...вый же ты санитар, — резюмировал собеседник, — раз у тебя ничего нет. Что же тогда у тебя есть?

Эллин понял, что дальнейшая беседа ни к чему хорошему не приведет.

— У меня есть скальпель, — ответил он, вынимая из кармана тамарино орудие самозащиты. — Желających могу излечить от сексуальной озабоченности хирургическим путем.

В первое мгновение угроза подействовала безупречно — то ли любителя морфия и спирта поразил размер скальпеля, то ли остроту Кости (который просто вспомнил, для чего скальпель был нужен Тамаре) он воспринял всерьез и побоялся, что Эллин в случае чего будет стараться попасть ему не куда-нибудь, а именно по вымени (а что может быть страшнее для молодого парня?), но только он сразу же замолчал и как-то попятился. Его товарищи на миг замерли, разинув рты, но тут же зашевелились, начали вставать, у кого-то из них в руке блеснул нож. Однако было уже поздно — Костя, воспользовавшись секундным замешательством, быстро отступил к двери и, распахнув ее, оказался снаружи.

Отойдя от дома на несколько шагов, Эллин на всякий случай оглянулся и, убедившись, что противник не собирается покидать своего укрытия, успокоился. И как оказалось, напрасно. Неведомо откуда налетел патруль, Эллин едва успел запихнуть скальпель в рукав куртки со внутренней стороны. Что это был за патруль, тот ли, от которого он прятался в подъезде, или другой, Костя так и не понял, да и не пытался понять. Три мужика в военной форме, бронежилетах и касках направили Эллину автоматы в пузо и начали выяснять, кто он такой и что тут делает. Услышав про сандружину, вояки недоверчиво переглянулись, и один из них начал Эллина шмонать. Шмонал он долго и основательно, даже бинты с ватой и йод выгреб из костиных карманов и охлопал Эллина всего с головы до ног, похлопал и по рукавам, но по счастливой случайности все больше со внешней стороны, и только пару раз у самых запястий залез большими пальцами на внутреннюю; так что скальпель он так и не обнаружил. Посмотрев на медикаменты так, будто видели подобные вещи первый раз в жизни, патрульные вернули их Косте и, ни слова не говоря, свалили куда-то в сторону БД. Костя инстинктивно рванул в противоположную сторону — подальше и от патрулей, и от негостеприимного подъезда.

\* \* \*

Леонтьев, так и не сумевший, в итоге, пробраться к БД, бродил с алиными бутербродами по Садовому и по дворам, рассудив здраво, что козь скоро здесь стреляют, то значит, и он тут может пригодиться. Пока он однако не пригодился. С крыш постреливали, но никого из прохожих или зевак не задевало, казалось, что идет не война, а игра в войну. Только изредка кто-нибудь с перепугу тыкался мордой в пыль. Леонтьев со своими бинтами оставался невостребованным. Впрочем, оно и к лучшему...

\* \* \*

В четыре часа дня в Белом доме появился некто, представившийся командиром «Альфы». Окружившим его депутатам некто без лишних слов сообщил, что «Альфа» получила приказ взять БД и приказ этот намерена выполнить, но крови, дескать, альфовцы не хотят и потому готовы вывезти на

своих автобусов всех осажденных к ближайшей станции метро и даже, если что, защитить их от расправы, если, конечно, осажденные сдадут оружие. Депутаты посовещались и приняли условия.

Через час первая партия осажденных — в основном женщины-работницы из буфетов и столовых были посажены на автобусы и увезены к метро.

\* \* \*

Миша пролежал на полу, по собственным расчетам, часа два. Точно понять было невозможно, потому что не только на часы посмотреть — и голову-то поднять не давали, грозя начать стрельбу.

А потом вдруг неведомо откуда пошел слух, что якобы к БД подходит Кантемировская дивизия, и все сразу изменилось. Лежащие на полу хором начали скандировать: «Банду Ельцина под суд!», а потом и откровенно стыдить спецназовцев, предлагая последним «переходить на сторону народа». Кантемировская — не кантемировская, но, видимо, снаружи действительно что-то было неладно, потому как спецназовцы наложили в штаны и стали с пленными страшно вежливы — разрешили сесть, курить, а переходя с места на место, извинялись и просили сидящих их пропустить.

Потом вдруг капитан спецназа, выхватив пистолет, начал стрелять в кого-то за окном. Почти одновременно солдат разбил прикладом стекло и дал наружу очередь. Затем снаружи что-то рвануло, и в окно полетели осколки. Хай поднялся невообразимый. Народ уже на стрельбу отреагировал таким ором, что ничего нельзя было разобрать, а уж после взрыва и вовсе походил с ума. Только на стрельбу он злился, а взрыв вызвал всеобщий припадок радости. Но радость радостью, а оставаться тут всем уже стало небезопасно. Капитан приказал спускаться обратно в подвал, и народ частично сбежал, а большей частью сполз туда.

Вскоре туда же спустились спецназовцы и заявили, что объявлено перемирие, и можно уносить ноги.

\* \* \*

Батон и Алик несколько часов просидели в подъезде неподалеку от БД, ожидая, что или Белый дом будет взят, или кто из его защитников попытается выбраться оттуда. Вместе с гостями из Набережных Челнов в подъезде засело трое пацанов из Казани, с которыми Батон и Алик познакомились прошлым вечером. Белый дом упорно держался. Алик, как обычно, начинал терять терпение и предлагать пройти по вокзалу.

Наконец, стрельба прекратилась, и тут у пацанов возникли разногласия. Казанцы и Алик предлагали подождать, не появится ли тут кто из защитников, а отчаянный Батон — наведаться к БД и, пока не убрали трупы, пошарить у них по карманам.

Предложение было довольно рискованное, но Батона заело самолюбие, тем более, что один из казанцев явно претендовал на лидерство, а это Батону не нравилось. В конце концов, он заявил, что, кто хочет, может оставаться здесь, а ему и одному не слабо повернуть это дело и, оставив Алика с казанцами в подъезде, выбрался наружу.

\* \* \*

В три часа Тавризов и компания временно свалили от Белого дома — Тавризов хотел забрать сына из детсада. Вскоре, впрочем, выяснилось, что забирать никого не надо — в саду было только семь детей, остальных родители предпочли держать дома, так же, как и жена Тавризова, которая, правда, сначала привела сюда своего сына, но потом раздумала и отвела назад и сама осталась дома,

наплевав по такому случаю на работу. Тогда санитары заскочили к Тавризову, благо, он жил совсем рядом, и как следует подкрепились у него дома. Здесь они чуть было и не остались — по телевизору сообщили о капитуляции БД; однако отчаянная Трусевич убедила всех, что капитуляция — капитуляцией, а раненые могут быть и после капитуляции, так что уже в пять минут пятого четверка вывалилась из тавризовского дома и снова отправилась на фронт.

\* \* \*

Депутаты, сотрудники, журналисты, сдавшиеся защитники БД и прочие его обитатели, согласившиеся на «эвакуацию», но не попавшие в первую группу, ждали своей очереди довольно долго. Наконец, альфовцы заявили, что автобусы заблокированы, так что добираться до метро придется пешком, несколько сот метров при этом альфовцы могут вышедших проводить. На том и порешили. Проводили вышедших альфовцы аккуратно до проходного подъезда соседнего дома, где БДшников уже ждали омоновцы, коим альфовцы и передали вышедших, после чего отправились заниматься своим основным делом — добивать тех, кто сдаваться не пожелал или просто не поверил обещаниям «Альфы» о том, что расправы с пленными не будет.

\* \* \*

Войтехову, вышедшему во второй партии «эвакуируемых», относительно повезло. Омоновцам понравились отобранные у него часы, поэтому его особо не мордовали. А может быть, дело было и не в часах, тем более, что омоновцев было много, а часы — одни, может быть, других бить им больше нравилось или мордами другие их больше раздражали, или чем-то Войтехов им приглянулся, может быть, наконец, просто случай такой выпал, но только Войтехова они почти не били. Конечно, «почти» — слово относительное, особенно, когда имеешь дело с ОМОНОм. Но, во всяком случае, Войтехову не сломали ребер и не выбили зубов, как кое-кому из депутатов, его не прогоняли больше одного раза сквозь строй, как многих рядовых защитников и журналистов, и уж тем более не расстреляли, как вышедшего рядом с ним мужика, у которого в сумке нашли ментовскую плащ-палатку, и других, у которых в карманах или сумках нашли подобную же фигню. Разовые тумачи в счет не шли — они доставались всем.

В конце концов, всех пленных, отобрав у них деньги и ценности, омоновцы рассортировали на мелкие группы и распихали по автобусам. Военнослужащих в форме и «казаков» собрали отдельно, потом говорили, что к вечеру большую их часть расстреляли. Посажённых же в автобусы повезли по ментовкам. Не избежал этой участи и Войтехов. В ментовке его с полчаса допрашивал какой-то следак из ГУВД, а затем лицевца заперли в какую-то пустую камеру. Впрочем, ему недолго пришлось скучать в одиночестве. Через каждые пять-десять минут в камеру прибывали новые арестанты: сперва — те, с кем Войтехова везли в автобусе, а потом — и другие, были тут и защитники БД, и те, кто показался ментам или омоновцам похожим на одного защитника; и часа через два камера оказалась забита до отказа, после чего приток новоселов неожиданно резко прекратился. Может быть, теперь заполнялись другие камеры, может, арестантов везли в другие отделения, а может быть, просто уже арестовали всех, кого можно было арестовать — кто знает? Изнутри трудно понять, что там происходит снаружи.

\* \* \*

Миша Голицын, вспомнив, что он — хоть и недоучившийся, но все-таки медик, остался помогать выносить раненых, которых у БД хватало, хотя трупов было больше. В числе последних оказались и двое останкинских беспризорников. Раненых солдат грузили в бронемашину. Со штатскими было

сложнее. Для солдат они были врагами (солдаты для того и существуют, чтобы держать в страхе народ, то есть штатских), а тут еще снайпер с какой-то крыши время от времени бил в кого попало, подстрелив даже четырнадцатилетнего парнишку, перелезавшего через забор; и пришлось порядочно помахать белой тряпкой, прежде чем удалось убедить вояк не стрелять.

В конце концов, раненых по одному вынесли к улице 1905 года, где их ждала «скорая» с врачом, не имевшим, правда, ничего, кроме бинтов. К санитарам присоединилось несколько прохожих, которые, оказавшись тут на свою беду, теперь не могли выбраться из этой каши.

Когда увезли последнего раненого, Миша направил свои стопы к станции метро «Баррикадная». Его никто не остановил. То ли спецназовцы уже привыкли к Мише, то ли в суматохе приняли его за одного из тех случайных прохожих, что тоже помогали санитарам.

«Баррикадная» была закрыта. Миша позвонил Бийцу и, узнав, что поезда в эту сторону ходят, начиная с «Беговой», направился туда.

\* \* \*

Батона взяли на обратном пути. Заметив неподалеку пяток санитаров и вспомнив вчерашний опыт, Батон закричал, было, что и он — санитар, но вооруженные типы в черных масках со словами: «Если ты — санитар, где твоя повязка?» поставили Батона носом к стене и основательно ошмонали. Помимо паспорта, прописанного в Набережных челнах, шмон выявил у Батона в одном кармане куртки модем и видеокарту от компьютера, а в другом — блоки оперативной памяти, после чего судьба Батона была решена. Расправу несколько притормозили санитары, но только притормозили. После того как Батона увели от санпоста, битье началось по новой.

\* \* \*

Второй медотряд действовал, разбившись на пятерки, большая часть которых занималась вытаскиванием раненых. Исключение составляла «внутренняя пятерка», занятая только медпомощью.

Стас с Павлом при разбиении попали во «внутреннюю пятерку». Ее комплектовали из самых опытных медиков, к каковым почему-то отнесли и волошинцев. На войне легко рождаются легенды, и второтрядовцы уже слышали от кого-то о какой-то бригаде профессиональных врачей, действовавших где-то рядом. Когда же они узнали, что «Первый медотряд» был в Останкино, весь Второй отряд окончательно уверился в том, что волошинцы — это и есть та самая бригада медиков-асов.

Работа во «внутренней пятерке» была самой ответственной, но одновременно и самой безопасной — ей не приходилось бегать под пулями. Впрочем, и другие пятерки если и бегали под пулями, то все больше под шальными — специально по белым халатам тут старались не стрелять, не то что в Останкино. Другой особенностью работы у БД, по сравнению с работой возле телецентра, было то, что здесь медики стояли со стороны правительственных войск, которые, в отличие от повстанцев, почти не несли потерь. Впрочем, и с этого берега все прелести войны были видны не хуже. Буквально на глазах у второтрядовцев был до полусмерти избит какой-то парень лет двадцати трех, утверждавший, что он — тоже санитар. Бившие отвечали, что никакой он не санитар, а обыкновенный мародер, и это куда больше походило на правду. Единственное, чего добились второтрядовцы, это того, чтобы парня не дубасили при них. Фантомасы подождали, пока санитары промуют бедняге сломанный нос перекисью водорода, и уволокли недобитого с собой. Потом Стас с

Павлом видели, как из БД выводят солдат, как выяснилось, из Дивизии Дзержинского — тех, которые перешли на сторону ВС. Вид у солдат был подавленный. С них срывали погоны и тоже куда-то уводили. И снова «внешние» пятерки тащили откуда-то раненых...

\* \* \*

Миша Голицын, едва успев отойти от телефона, сразу же нарвался на второй кордон. Защитника БД подержали с поднятыми руками у стены (акkurat, как Трофименко в штабе баркашей), потом, предварительно побив (поводом для битья послужили найденные у Миши в кармане вторые очки), посадили в воронку и отвезли к станции «Улица 1905 года», потом пересадили в другой воронку. В первом воронке с ним оказалось еще два человека, зацапанных тоже у «Баррикадной», во втором — набралось уже человек пятнадцать, задержанных кто за что — один поднял с земли и рассматривал автоматную гильзу, у другого нашли газовый баллончик, третий просто ментам не понравился — видно, мордой не вышел... Из всех пятнадцати только Миша, в самом деле, был в БД.

Арестованную братию повезли сначала на Пресню в пересылку, потом по ментовкам, но везде народу уже и так было, как сельдей в бочке. В итоге, катались так долго, что арестанты успели совершенно освоиться со своим положением и пребывали уже не только не в подавленном, но даже, пожалуй, в приподнятом настроении. Арбатский рок-музыкант из группы под названием «Группа риска», забранный за то, что был в задницу пьян, развлекал товарищей по несчастью веселыми историями из собственной жизни. Только ближе к вечеру где-то на окраине Мишу, наконец, запихнули в и без того переполненную камеру.

\* \* \*

После ухода депутатов Белый дом продолжал сопротивляться. Иногда казалось, что сопротивление уже сломлено, но потом все начиналось снова, и тот из штурмующих, кто раньше времени расслаблялся, здорово рисковал. Когда защитники уже почти перестали стрелять, и штурмующие утратили бдительность, из окна БД вдруг кто-то шарахнул из «Мухи». Шарахнул прицельно — там, где за секунду до выстрела стоял солдат Дивизии Дзержинского, не осталось ничего. Ни обрывков камуфляжа, ни обломков бронежилета. Парень так и не смог поехать на дембель, до которого ему оставался всего месяц. Даже в цинковом гробу.

\* \* \*

Батон очнулся в камере. Он лежал на топчане, и сидящий рядом с ним мужик лет пятидесяти сочувственно спрашивал Батона, за что того так отделали. Узнав про компьютерные платы, мужик покачал головой:

— Что ж это ты так? Разве так можно? Это же все — народное! Чем ты тогда лучше Чубайса? Тот народ обворовал, и ты обворовываешь.

— А чем я хуже? — недовольно спросил Батон.

— А я и не говорю, что ты хуже, — ответил мужик. — Ты — такой же.

Рядом кто-то хмыкнул. Батон приподнял голову и увидел рядом с мужиком какого-то типа лет тридцати с фонарем под глазом.

— Тогда почему Чубайса никто не бьет, а меня бьют? — язвительно спросил Батон.

— Потому что у власти эти гады, — ответил мужик.

Батон, плохо соображающий после многочисленных ударов по затылку, только теперь понял, кто его собеседник.

— А-а, — сказал он, — понятно. А ты, значит, к Белому дому пришел, чтобы против них воевать?

— А ты зачем пришел? — усмехнулся тридцатилетний. — Компьютеры приватизировать?

Батон замолчал и отвернулся. Он всегда относился к подобным людям с презрением. Собеседники Батона перебросились между собой парой фраз, которые Батон толком не расслышал, зато он явно разобрал слово «мародер».

Хотя насчет мародера все было чистойшей правдой, Батону захотелось встать и вырубить обоих, чтобы знали, с кем дело имеют, и относились с уважением. Но у него были поломаны нос и ребра, так что ему не только встать, но и пошевелиться-то было непросто. Перевернувшись на спину, он оглядел битком набитую камеру и убедился, что, по крайней мере, половина ее обитателей сильно смахивает на защитников БД, а остальные — какие-то алкаши, которым одинаково наплевать и на БД, и на Батона. Даже если бы Батон был здоров как бык, соотношение сил оказалось бы не в его пользу.

«Ладно, — подумал Батон, — с вами мы еще разберемся». Он ощупал одежду и убедился, что ни денег, ни документов при нем нет, зато ни спецназ, ни менты не нашли обручальное кольцо, которое он снял с убитого и спрятал в плавках.

\* \* \*

Плющихинской четверке на этот раз не удалось пройти к Белому дому. После выхода депутатов, от того ли, что теперь в БД не было никого, кроме боевиков, от чего ли другого, но только ситуация в районе Смоленки здорово изменилась — вояки стали агрессивнее, на вопросы не отвечали, только гоняли всех прочь и при этом ухитрились перекрыть все ходы и выходы, какие только можно было найти. Через час даже Тавризову, знавшему этот район как свою квартиру, стало ясно, что пройти к горящему зданию невозможно. И все-таки волошинцы, надеясь то ли на чудо, а скорее, на то, что ситуация снова изменится и в заслоне опять появится лазейка, до самого вечера продолжали бродить по дворам и переулкам то со стороны Смоленки, то со стороны Новинского бульвара, натываясь на заслоны и обходя шнырявшие вокруг патрули, ищущие, кому бы свернуть шею.

\* \* \*

Вечером, когда по БД уже перестали стрелять из пушек, но бронетехника еще разъезжала по городу, неподалеку от затихшего фронта — на Садово-Кудринской, возле высотки творилась какая-то чертовщина. Несколько молодых ребят лет шестнадцати-девятнадцати выкидывали на улицу старые доски, поломанные скамейки, мусорные баки и прочую дрянь, мешая технике проезжать. Подоспевавшие омовцы разгоняли молодцев, скрывавшихся во дворах, и раскидывали импровизированную баррикаду, но через несколько минут молодежь появлялась снова.

Перекрыть движение на Садовом «внесколькером», да еще, когда постоянно мешает ОМОН, — дело практически невозможное, но каждый раз, как только ОМОН расходился по своим делам — отгонять зевак и ловить подозрительных — строители вновь возникали неведомо откуда и опять забрасывали улицу свежим мусором.

В конце концов, омовцы увязались за строителями всерьез, и тем пришлось уносить ноги, что они

все и сделали; только Паламарчук долгое время никак не мог найти, куда бы скрыться, и минут пять удирает от двух омонцовцев, которые, по счастью, не стреляли. Он уже начал выдыхаться, когда ему удалось свернуть в какой-то переулок. Тут, на углу за ним с криком: «Держите красно-коричневого!» — увязался какой-то идиот, но Паламарчук боковым с разворота отправил идиота в нокаут и скрылся в ближайшей подворотне. Преследователь, правда, скоро вскочил на ноги и бросился было следом за Паламарчуком, но тут в переулок вбежали омонцовцы. Они догнали ловца красно-коричневых, намяли бедняге бока и утащили его с собой.

Минут через десять Паламарчук, не нашедший второго выхода со двора, в который он попал, выглянул из подворотни и убедился, что опасность миновала.

\* \* \*

Кто-то из бывших «афганцев» однажды сказал, что на войне человек не взрослеет — на войне он стареет. Это — чистая правда, и если бы Эллин мог посмотреть на себя со стороны и поговорить сам с собой, он бы убедился, что за последние пару дней он действительно постарел лет на пять. Постарел не внешне, а как-то внутренне — в языке, в манерах. Но Эллин не мог наблюдать сам за собой, как биолог за подопытными крысами, и поэтому своего старения не замечал. Не замечал он и того, что его лицо, успевшее посветлеть за время пасмурных дней, теперь за последние три дня снова потемнело от загара. Костя вообще легко загорал — на Валдае и даже в Крыму он во время работы преспокойно скидывал майку, не боясь обгореть, и действительно почти не обгорал, а только темнел. Сказывалась отцовская южная кровь.

А вот, что Эллин замечал, так это то, что от его хождения толку было все меньше. Почти сразу после этого дурацкого обыска, при котором Эллин чудом сохранил скальпель, навстречу Косте попались два мужика с основательно разбитыми физиономиями. Кто были эти мужики — защитники БД или просто случайные прохожие и кто их так обработал — солдаты или какие-нибудь хмыри вроде тех, что встретились Эллину в подъезде, а может, и те, и другие, этого Эллин так толком и не понял. Как бы то ни было, но эти двое были последними, кому Эллин чем-то помог. Примерно с час после этого бродил он между окрестностями БД, Красной Пресней, Улицей 1905 года и Краснопресненской набережной, ожидая, что, может быть, появится кто еще, кому он будет нужен, потом, поднявшись по набережной вверх, перебрался по железнодорожному мосту на другой берег Москвы-реки, а там по Кутузовскому проспекту спустился сперва к Новоарбатскому, а потом и к Бородинскому мосту, надеясь пробраться к БД с другой стороны, но, убедившись, что и здесь ему нечего ловить, вернулся обратно.

Нельзя сказать, чтобы отсутствие пациентов вызывало у Кости угрызения совести. Он давно уже понял, что его участие в этой каше, в ее расхлебывании зависит не только от него, но еще и от кучи самых разных обстоятельств, и если он делает все, непосредственно от него зависящее, то значит, совесть его чиста. Но чем дальше, тем больше он приходил к выводу, что все, от него, Эллина, зависящее, он уже сделал, и если больше раненых нет, то значит, и ему тут делать нечего. Ясно было, как дважды два, что к Белому дому ему не пройти и что трудороссы разбиты и деморализованы, и ничего похожего на останкинский поход или даже на позавчерашнюю стычку на Смоленке они повторить не смогут, да и патриоты, похоже, затаились. К тому же время было уже позднее, на улицах становилось темно, как в тот вечер, когда Костя первый раз появился у БД, только тогда было пасмурно и моросило, а теперь небо было не по-осеннему ясным и чистым.

Короче говоря, продежури на московских улицах без перерывов на обед до семи вечера, Эллин

решил, что он — перед всеми чист и имеет полное моральное право свое дежурство завершить. Он добрался до площади Краснопресненской заставы и собрался было оттуда идти к Беговой, но по ошибке свернул на Пресненский вал и, к своему удивлению, минут через двадцать вышел к Белорусскому вокзалу. Что поделать — не знал Эллин центральной, исторической части Москвы. Хотя, с другой стороны, это надо еще посмотреть, какую часть считать более исторической. Дом, в котором жила Ксения, не упоминался, наверно, ни в одном учебнике истории, однако именно в нем помещалась известная на всю Москву филателия, а протянувшиеся от «Беляево» до «Юго-Западной» улица 26 бакинских комиссаров и кусок Миклухо-Маклая давно уже стали самым крупным в Москве рынком наркотиков. Чем не исторические места (Гиляровского на них нет)?

Увидев, как, оказывается, быстро можно добраться от БД до вокзала, а стало быть, и от вокзала до БД, Эллин на секунду задумался, а не вернуться ли ему еще на полчаса, но тут же решил, что при своем знании Москвы он, пожалуй, опять заплутает и выйдет не туда, куда собирался, да и вряд ли что уже будет путного от его возвращения и, в итоге, доехав на метро до Пушки, направился в «Мемориал».

\* \* \*

Весь день четвертого октября на улицах Москвы была слышна стрельба. В четыре часа было официально объявлено о победе, но это было вранье. Где-то на последних этажах БД еще сидели чудом не сгоревшие профессионалы из отряда «Вымпел», уступающие ОМОНу по численности, но не уступающие в умении убивать; а в подвалах и канализации оставались наиболее фанатичные члены Союза офицеров и симпатизанты баркашей вроде Паламарчука, не успевшие вовремя выбраться или не пожелавшие уносить ноги вместе со своими кумирами. Таких, правда, было совсем уж немного — всех своих баркаши увели, а простым сочувствующим они автоматов не давали; без оружия же в Белом доме мог сознательно остаться только самоубийца. Теперь с пяток таких фанатиков, вооружившись автоматами, взятыми у убитых, бродили по трубам, не зная, как выбраться, и не желая сдаваться. Кое-кто знал, как выбраться, но такие давно уже ушли сами и вывели с собой, кого могли. По чердакам и дворам еще прятались бойцы-одиночки, стрелявшие по омоновцам и спецназовцам; а те, в свою очередь, палили по ним. К ночи с одиночками было покончено — кто не был убит, ушел из столицы.

Но еще держался «Вымпел», еще не были перебиты скрывающиеся в подвалах. Штурм продолжался.

\* \* \*

Выйдя из «Мемориала», Эллин решил пройтись к баррикадам ельцинистов — глянуть, что же творится там. Минут через пять он вышел на Пушки и оттуда, поплутав по подземному переходу, выбрался на Тверскую.

Первое, что он там увидел, был здоровенный грузовик, набитый бетонными глыбами и железяками. Два или три таких грузовика перегораживали улицу, оставляя узкий проход, в котором стоял какой-то хмырь воинственного вида. Машины были буквально вмурованы в баррикаду. Заметное даже от Пушкина укрепление особенно впечатляло вблизи. По сравнению с ним не только заграждения у БД, но и даже то, что было построено на Смоленке, показалось бы детской снежной крепостью. Мощное сооружение начисто скрывало московский плагиат с Медного всадника — памятник основателю Москвы, который, в общем-то, никакой Москвы не основывал, а просто устроил в ней пьянку, вкуче с местом проведения попавшую в историю. Впрочем, до Долгорукого от баррикады было еще идти и идти — она перекрывала улицу прямо здесь, у самой Пушки.

Костя остановился и, разинув рот, уставился на баррикаду. Так он и простоял, задрвав голову, несколько минут, пока его не окликнули.

Костя обернулся и увидел трех парней лет семнадцати, одетых в камуфляж. Самый длинный из них, судя по всему, что-то спрашивал у Эллина. Двое более коротких — может быть, на сантиметр-другой выше Кости стояли рядом, ожидая ответа. Судя по запаху, все трое свято блюли славную традицию, идущую от владимирского князя к российскому президенту.

— Чего? — переспросил Костя.

— Я говорю, ты за кого? — повторил парень. — За демократов или за коммунистов?

— Я — за «Локомотив», — ответил Костя. — У меня прадед был железнодорожник.

— Ты не вые...ся, а отвечай! — в один голос заявили два других парня.

— Во-первых, я не вые...юсь, а отвечаю, — заметил Костя, — а во-вторых, кто вы такие, чтоб меня допрашивать? Вас что прокурор уполномочил?

— Нас народ уполномочил, — пояснил длинный.

— Народ? — удивился Костя. — Какой народ? Я лично вас не уполномачивал.

— Ты — не народ.

— Понятно. А кто — народ?

— Народ — это, кто за демократию.

Костя понимал, что назревает драка. Драться ему не хотелось. И избегать драки тоже не хотелось. Ему вообще ничего не хотелось. Последние два дня, похоже, лишили его возможности чего-то хотеть, он утратил всякие эмоции и, наконец, просто устал. Если бы он знал, что защитники российской демократии пристают к прохожим, то просто не стал бы сюда ходить, не потому, что боялся, а потому, что не имел желания тратить силы на выяснение отношений. И теперь эти трое, непонятно чего от него добивавшиеся, вызывали у него одно только раздражение.

— Ну и на что он вас уполномочил? — поинтересовался Эллин. — Людям мешать?

— Демократию защищать.

— От кого?

— От таких, как ты.

— От каких «таких»? — довольно зло спросил Эллин.

Как ни был он измотан, однако же его стало доставать поведение сопляков, в которых никто не стрелял, не кидал гранат, которых не били омовцы, не ловили баркаши, и которые тем не менее чувствуют себя героями и корчат из себя крутых, мешая нормальным людям. Косте захотелось снять с собеседников штаны и выдрать их ремнем. Это было даже не то, что он испытывал, когда начинал, по его понятиям, хамить младший брат. Впервые в жизни Эллин вдруг почувствовал себя стариком, перед которым выделяются наглые юнцы.

Длинный приблизился к Косте вплотную. Он был выше Эллина сантиметров на пятнадцать.

— Таких, — прогудел он, дыша Косте в нос спиртными парами, — которые за красно-коричневых.

— Которые не отвечают, а вые...ются, — добавил другой.

— У кого рожа такая наглая, — подытожил третий.

Длинный протянул руку и ухватил Эллина за куртку.

— А рожа, кстати, знакомая. Где я мог ее видеть?

— Ты часом не из Белого дома?

Костина злость, наконец, превзошла усталость.

— Я из дома номер десять по улице Новая, город Люберцы, Московская область, — ответил он. — Можете съездить удостовериться. А теперь...

Он не договорил. И не бросил длинного через спину, как собирался. Потому что, услышав про Люберцы, длинный вдруг отдернул руку, будто через костину куртку пропустили ток, и отступил шага на два. Его приятели, удивленные таким поведением, застыли в недоумении. Костина злость сразу же прошла. Остались только раздражение и презрение. Он молча шагнул мимо длинного, не понимая, чего собственно тот испугался — вот уж пара лет, как любера, если с кем и дрались, так все больше не с москвичами, а с казанскими гопниками. Костя успел сделать еще пару шагов, как вдруг сзади послышалось:

— Эллин! Эллин, погоди!

Костя по инерции прошел еще метра полтора и остановившись обернулся. Длинный догнал его.

— Эллин, ты меня не узнаешь?

— Нет, — ответил Костя.

— Тебя тоже не узнать с бородой. Я — Леха Мозгин.

Теперь Косте все стало ясно. Мозгин учился в одной школе с его братом, и у Витька с Мозгой одно время были напряженные отношения. Года четыре назад Мозга даже поджидал как-то Витька после уроков, и надо ж было такому случиться, что в самый ответственный момент рядом чисто случайно, в самом деле, случайно, оказался Эллин. Все обошлось без синяков, но Мозга надолго запомнил, что к Эллину руки лучше не протягивать и особо не приближаться, не то мигом окажешься на земле вверх тормашками. И хотя, поняв, с кем имеет дело, Мозга драться не собирался, но руку он предпочел убрать от греха подальше.

— А, это ты, Мозга... — сказал Эллин. — У тебя голос изменился.

Голос у Мозги действительно изменился, что было неудивительно — он сломался уже после того, как Костя перебрался в Москву. Да и внешне Мозга стал другим — три года назад, когда ему было четырнадцать, он был одного с Костей роста.

— А я вот тут демократию защищаю, — пояснил он. — Ты, надеюсь, не за красно-коричневых?

— Нет, — сказал Эллин.

— Тогда пойдём к нам! Я тебя запишу.

— Нет, — сказал Эллин. — Я — сам по себе.

И повернувшись пошел прочь.

А Мозгин со товарищи вернулся за ограждения и направился в центр цитадели, туда, где, подражая медному Петру, простирал над землей свою длань медный Юрий, и только жеребец под ним не поднимался на дыбы, а чуть ли не проседал, как проседала лошадь под Александром Третьим, который, кстати, пока был не из металла, а из живой плоти, тоже регулярно набирался, да и помер, в конце концов, от вина. Любят российские государи заложить за воротник!

\* \* \*

Перед началом комендантского часа второй медотряд погрузился в автобус с красным крестом и поехал на Советскую площадь — единственное место в Москве, на которое комендантский час не распространялся. Там, за баррикадами, санитары провели всю ночь. Они были единственными трезвыми в эту ночь в этом месте.

\* \* \*

Лозован заметил санитарный автобус, когда последний катил по Новому Арбату. В автобусе среди прочих Лозован разглядел Стаса. Стас тоже заметил товарищей и что-то закричал им, приглашая в автобус. Четверка подбежала к машине, и Трусевич успела даже вскочить на подножку, но ее столкнули, и автобус умчался прочь, оставив удивленных волошинцев на произвол судьбы.

Между тем оставаться и дальше в окрестностях БД стало уже совсем небезопасно — до начала комендантского часа оставалось совсем немного, а транспорт здесь не ходил. Но, видно, сама судьба уже хранила волошинцев. Они благополучно миновали все патрули и, не особо даже опоздав, ввалились в «Мемориал». Здесь Тавризов раздобыл у кого-то водку, и четверка вместе с парой мемориальцев, слегка выпила. За погибших, за свою хорошо проделанную работу и просто за то, что сами уцелели.

\* \* \*

Проснувшись утром, Миша обнаружил, что, кроме него, в камере нет никого, хотя бы отдаленно напоминающего собой защитника БД. Вокруг были какие-то гопники, да и вообще камера была не так набита, как раньше. Пошевелив мозгами, Миша, привычный к ментовкам и допросам, сразу придумал «легенду». Он — торгует газетами, шел за очередной партией, услышав стрельбу, растерялся, начал метаться и, в конце концов, угодил в лапы спецназа. Отработать детали он не успел, потому как дверь открылась, и его потащили на допрос.

Первым делом Мишу спросили, кто он такой и где живет. Признаться в том, что он — иногородний Мише не хотелось — вчера в камере кто-то сказал ему, что будто бы всех задержанных иногородних сейчас высылают.

— Биец, — ответил он. — Сергей Николаевич, — и, ничтоже сумняшися, назвал адрес Бийца.

— Телефон есть?

— Отключен за неуплату.

Усердный мент пошел выяснять, прописан ли Биец Сергей Николаевич по указанному адресу. Тем временем допрашивающий, выслушав историю о похождениях торговца газетами, спросил, кто же шляется за газетами мимо осажденного здания, и получил стандартный российский ответ: «Был выпимши». Менты недоверчиво оглядели мишин гардероб, но на нем не было написано, какой вид он имел до общения с фантомасами и грязной камерой; кроме того, люди, имеющие привычку даже в самый неподходящий момент быть выпимши, редко бывают слишком хорошо одеты. Голицына отпустили, предварительно взяв с него объяснительную и сняв отпечатки пальцев.

\* \* \*

Пятого несколько сандружинников во главе с Леонтьевым снова появились в окрестностях Белого дома. Но уже некого было перевязывать — на улицах безраздельно господствовал ОМОН, и никто больше не пытался померяться с ним силой, а о том, чтобы пробраться в Белый дом, не могло быть и речи. Да и неясно было, остался ли еще там из защитников кто живой. После того как омововцы, остановив и ошмонав сандружинников, отобрали у Лозована противогаз, остававшийся у того с прошлой защиты БД, волошинцы плюнули и ушли в сторону «Мемориала».

\* \* \*

Эллин, к вечеру измотанный настолько, что по возвращению к тетке у него еле хватило сил позвонить домой и Тамаре — сказать, что живой, уснул, не раздеваясь, а проснувшись, первым делом попытался связаться с «Мемориалом». Но не один он звонил в «Мемориал», телефон был безнадежно занят; и только в одиннадцатом часу Костя дозвонился и, кроме прочего, узнал, что вчера якобы арестован какой-то анарх, которого недавно только еле вытащили из ментовки. Задав пару наводящих вопросов, Эллин понял, что речь идет о Трофименко. Через минуту Костя уже набирал телефон Ксении.

Трубку взяла Ксения. Сказала: «Алло!» и, услышав костино «Ксения, ты?», надолго замолчала. Видимо, говорить с Костей ей не хотелось, но, будучи опознанной, бедняга не знала, как отвертеться. Наконец она, видимо, смирилась и бесчувственным голосом произнесла:

— Да.

— Ксения, это я, Костя, — торопливо сказал Эллин. — Что у тебя с братом?

— Ничего, — удивилась Ксения. — А почему ты спрашиваешь?

— Он дома? — поинтересовался Костя. — Его видели по телевизору.

— Понятно, — голос у Ксении резко подобрел, и одновременно в нем появилась усталость. — Нам уже телефон оборвали. Вовка — цел и невредим, все — нормально. А ты что, с его друзьями говорил?

— Я и с ним в свое время говорил, еще до первого раза. Только я не знал, что он твой брат, а он не знал, что я тебя знаю. У него точно — все нормально?

— Точно, точно — заверила Ксения. — Если, конечно, не считать, что он, похоже, так и не поумнел. Если хочешь знать, как он выпутался, лучше спроси у него. Только сейчас он на работу ушел, придет часов в восемь. Ты где?

— Где обычно, — отвечал Костя. — На Профсоюзной.

— Если хочешь, можешь зайти, — предложила Ксения.

— Да нет, — ответил Костя, — я позвонил только из-за твоего брата. Передай ему привет от меня. Скажи: от того парня, которому он объяснял про анархизм возле панковского костра. На вторую ночь. У тебя самой — все нормально?

— Да... — Ксения явно была удивлена.

— Ну тогда до свидания.

Эллин нажал кнопку телефона и снова начал накручивать номер «Мемориала».

\* \* \*

К полудню все было кончено. Остатки «Вымпела», расстреляв почти все патроны, были оттеснены на самый верх и там обуглились вместе со своими автоматами. Офицеры и сторонники нацистов в трубах частью были перебиты, частью ушли так далеко, что не могли уже найти дорогу и в подвалы БД. Что с ними стало дальше, можно только гадать. Может, кому-то и повезло случайно выбраться на свет божий, а большинство, наверно, до сих пор лежит там в виде скелетов с автоматами без прикладов и лож (потому что ложи и приклады давно сгнили). Во всяком случае, ни ОМОНу, ни спецназу они больше не попадались на глаза. Штурм закончился. Белый дом был взят.

К вечеру арестованные в БД, за исключением депутатов, были отпущены на свободу. Их больше не боялись. Им больше нечего было защищать.

\* \* \*

Вернувшись вечером на Алымова, Костя узнал две новости. Во-первых, оказалось, что Тамара не только взяла две недели за свой счет, но и договорилась с начальством, что и Костя будет гулять (тоже за свой, естественно, счет) до двадцатого, а заявление напишет задним числом. Во-вторых, она решила, что после такой заварухи им обоим неплохо бы отдохнуть где-нибудь в Ялте и уже купила билеты до Симферополя. Костя поинтересовался, на какие шиши она собирается жить во время этого свадебного путешествия, да и потом, когда Косте ни чорта не заплатят за месяц; и узнал, что Тамара сдала очередную часть своего золотого запаса. Костя никогда не горел желанием начинать карьеру альфонса. Но не успел он толком сформулировать эту мысль в своей голове, как Тамара его опередила: «Ты не смущайся! Пока я была молодая, на меня мужики тратились, а теперь и мне — не грех потратится. И потом, что мне его беречь? Знаешь, говорят, каждый должен узнать бедность, любовь и войну. Любви у меня сколько хочешь было, с войной ты меня хоть и заочно познакомил, надо ж когда-нибудь и бедности понюхать».

Костя ничего не ответил, только подумал, что при таком подходе к своим финансам Тамара скоро бедности нанюхается до чихания. И еще он подумал, что Стас, похоже, прав, и ему, Косте, видимо, в самом деле предстоит в дополнение ко второй любви пережить и вторую бедность, и вторую войну; потому как тамариного золота хватит ненадолго, а в том, что без второй войны для него дело не обойдется, Костя не сомневался. Вопрос мог быть только в том, как Эллина туда затянет. Будут ли разыскивать всех участников «Малой гражданской», вынудив его бежать в какую-нибудь «горячую точку»; подастся ли он туда сам в качестве наемника, чтоб не подохнуть с голоду; начнется ли еще через два года очередная защита Белого дома; или просто доберется до Кости, в конце концов,

военкомат, и пошлют в какой-нибудь Таджикистан или, где тогда будут воевать, — кто его знает... Как говорится, возможны варианты.

Но одно Костя знал точно — эту свою первую войну он проиграл. Это была не его вина — армией, в рядах которой он сражался, руководили карьеристы и предатели, и некому было даже разогнать их, ибо почти все бойцы слепо верили этим предателям; но суть от этого не менялась — он не сумел отстоять свое право жить по-человечески, будучи инженером или рабочим, а не альфонсом, наемником или бандитом. Но он знал и другое — он еще молод — ему пока — только двадцать, и это — не последняя его война. У него еще будут шансы взять реванш.

Тамара куда-то выскочила на полчаса, и Эллин, оставшись один, вдруг почувствовал сильную усталость. Двухнедельная заваруха выработала у него способность отрубаться в любой момент, и Костя отключился, растянувшись на диване. Он отдыхал. У него было целых полчаса. Он набирался сил для реванша.

1994-2001; 2003

*СВЕРСТАНО GOODBOOKS 2013*

## Примечания

1. Под термином «народная приватизация», видимо, понимался один из вариантов приватизации, при котором собственником предприятия становился его бывший директор (а не «сторонний» покупатель).
2. Невзоров Александр — основной ведущий ленинградской информационной программы «600 секунд». С 1989 года на ярко выраженных национал-имперских позициях.
3. Бич — слово, шутейно расшифровываемое как «бывший интеллигентный человек», а реально произошедшее от английского beech — берег моря и попавшее в Россию через Дальний Восток. «Бичами» называли сначала матросов, списанных на берег и не сумевших приспособиться к «сухопутной» жизни, а затем — просто людей без определенных занятий (и чаще всего без определенного места жительства), бродивших по северным и дальневосточным районам России и перебивавшихся случайными заработкам. Слово «бич» достигло своего максимального употребления к концу 80-х годов (оно еще не считалось литературным, однако уже было общеупотребительным), но в начале 90-х было очень быстро вытеснено словом «бомж», которое до этого времени было практически неизвестным за пределами уголовных и правоохранительных кругов и не имело в этих кругах такого презрительного оттенка, как сейчас (аббревиатурой БОМЖ (без определенного места жительства) могло быть помечено дело и простого бродяги, и самого «авторитетного» «вора в законе»). Кстати, и слово «бич» в отличие от нынешнего слова «бомж» зачастую имело несколько романтический оттенок.
4. На самом деле коммунистические районы с отменой денег были созданы анархистами в Арагоне (примыкающем к Каталонии).
5. Касовка — членка КАС, конфедерации анархо-синдикалистов, наиболее массовой организации, объединявшей людей, считавших себя анархистами. Наибольший расцвет КАС относился к рубежу 80-х-90х годов (численность КАС по СССР доходила до полутора тысяч). К 1993 году численность КАС успела резко снизиться, а к середине 90-х годов КАС сохранилась только на территории Сибири.
6. Дизеля в качестве маленькой теплоэлектростанции широко использовались в СССР, а затем и в постсоветской России. Обычно к дизелям были подключены военные объекты. В здании Белого дома дизеля, видимо, находились в качестве аварийного источника энергии.
7. СЭВ — Совет экономической взаимопомощи — экономический союз, в который входило большинство «соцстран».
8. РПК — Российская партия коммунистов, одна из ленинистских партий.
9. ФНС — Фронт национального спасения, объединение ленинистско-патриотических организаций
10. Киножурнал — коротенькая (минут на пятнадцать) кинопрограмма (обычно — информационная из документальных фильмов, реже сатирическая или рекламирующая новый фильм), которую в «застойные» годы прокручивали в кинотеатрах перед просмотром основного фильма.
11. Константинов Илья — один из лидеров ФНС.
12. Пентагон — в богемных и молодежных кругах Москвы название здания Генерального штаба в районе Арбатской площади.
13. «Голоса» (или «вражеские голоса») — западно-европейские и американские радиостанции,

пользовавшиеся популярностью во времена застоя, когда они сообщали то, о чем умалчивала официальная советская пропаганда. Своё название получили от названия одной из них — «Голос Америки». В начале 90-х годов «голоса» уже не превосходили по объективности тогдашние российские средства массовой информации.

14. «Нога» — в божемных и молодежных кругах Москвы название Славянской площади и станции метро «Китай-город» (до 1994 года и то, и другое носило официальное название «Площадь Ногина»).